

КРАСНАЯ МЕССА ТОМ II: ЖАТВА

КОНЮШЕНКО ЕГОР



Егор Конюшенко

Красная Месса. Том II: Жатва

«Автор»

2026

Конюшенко Е.

Красная Месса. Том II: Жатва / Е. Конюшенко — «Автор», 2026

Москва, 1953 год. В ночь смерти Сталина Берия запускает операцию, призванную воскресить древнего Жнеца, который был запечатан в 1944м. Архивариус Громов, майор Тучков и дочь погибшего героя Инна Ветрова, сами того не зная, становятся пешками в игре, где ставка — не власть, а само существование мира. Но кто на самом деле плетёт эту паутину и можно ли доверять даже тем, кто спас тебе жизнь?

© Конюшенко Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Два эха великой ночи	5
Глава 1. Свиток Жатвы	13
Глава 2. Кровь на подоконнике	19
Глава 3. Точка возврата	25
Глава 4. Попутчики под прицелом	31
Глава 5. Голос из колодца	36
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Егор Конюшенко

Красная Месса. Том II: Жатва

Пролог. Два эха великой ночи

В ту ночь Москва замерла, как перед выстрелом.

Кто-то наверху уже знал — Сталина больше нет. Но здесь, в подземном кабинете на Лубянке, время будто остановилось. Единственная лампа с зелёным абажуром выхватывала из полумрака лица, и тени за спинами казались неестественно глубокими — словно в них прятались те, кого не ждали. Лаврентий Павлович Берия сидел неподвижно, сложив руки на столе, и его пенсне поблёскивало в этом чахлом свете, как два сторожевых глаза.

Он не выглядел испуганным. Он был напряжён — как хищник, который почуял, что клетка, в которой он сидел все эти годы, наконец открылась. Ещё никто не знал, откроется ли для него дверь к свободе или прямо к пропасти. Всё решали ближайшие часы.

Рядом с ним сидел Семён Денисович Игнатьев, министр госбезопасности, — человек с округлым, мягким лицом и нервно подрагивающими пальцами. Он старался сохранять спокойствие, но даже сквозь его напускную невозмутимость проступала тревога — та самая животная, что охватила всю верхушку власти. Он то и дело поглядывал на дверь — словно ждал, что сейчас ворвутся автоматчики.

Третьим был неизвестный.

Берия назвал его «полковник». Без фамилии. Без звания в петлицах — вместо них под пиджаком угадывался лишь тёмный, обрезанный край военной гимнастёрки. Лицо — бледное, почти восковое, с заострёнными скулами. На левой щеке — старый шрам, давно заживший, но всё ещё заметный; он тянулся вниз, к подбородку. Он сидел с краю стола неподвижно, словно каменное изваяние, — напоминание о чём-то страшном, что не должно было выйти наружу.

— Вы знаете, зачем я вас собрал, — начал Берия, и его голос прозвучал ровно, без лишней интонации. — Сегодня ночью всё изменится. Я не буду говорить о политике. Это не ваше дело. Ваше дело — это вот.

Он пододвинул к центру стола тонкую папку, перетянутую бечёвкой с сургучной печатью. Игнатьев замер, не решаясь дотронуться. Полковник же лишь чуть склонил голову, устремив взгляд на обложку, где чернилами, характерным убористым почерком, было выведено: «Красная Месса — 2. Список. Уничтожить после прочтения».

— Я думал, проект закрыт, — медленно произнёс Игнатьев, и в его голосе послышалась робкая надежда на то, что Берия передумает. — Лаврентий Павлович, с вашего позволения... это же всё было засекречено после инцидента в сорок четвёртом. На нас и так лежит колоссальная ответственность...

— Ответственность, — перебил его Берия, не повышая голоса, но от этого односложного слова по коже побежал холодок. — Завтра, Семён Денисович, начнётся новая эпоха. Вся ответственность перейдёт на других людей. На тех, кто будет пытаться удержать власть в ослабевших руках. А мы с вами... — он снял пенсне и медленно протёр его платком, — мы с вами должны обеспечить себе место в новой эпохе.

Он потянул за бечёвку. Сургуч хрустнул, и Берия раскрыл папку. Внутри, на одном-единственном листе плотной бумаги, без шапки и подписи, колонкой были перечислены семь фамилий.

Игнатьев взгляделся в список. Четыре фамилии он не знал — видимо, люди из периферии, мелкие исполнители. Но пятая заставила его вздрогнуть.

— Громов... — прочитал он вслух, и в его голосе звякнул металл. — Всеволод Громов? Начальник архивного отдела в Челябинске-40? Но он же простой архивариус! Какое отношение он может иметь к... к повторному запуску?

— Ты не понимаешь, Семён Денисович, — вмешался полковник.

Голос у него был глухой, словно доносился из глубокого колодца, и в нём не было ни капли участия — только сухая констатация факта. Он наклонился к столу, и его длинные, неестественно бледные пальцы легли на край бумаги, указывая на вторую фамилию в списке.

— Он не просто архивариус. Он — свидетель. Он знает всё о «Молохе», о финальном ритуале и о том, как умер последний носитель. Он держит в руках досье, которое не должно попасть в чужие руки. И пока он жив — он угроза.

Берия чуть заметно улыбнулся — холодной, невесёлой улыбкой человека, давно утратившего способность радоваться чему-либо, кроме чужой слабости.

— А вторая фамилия, — подсказал он, кивая на нижнюю строчку. — Прочти вслух.

Игнатьев вгляделся. Пальцы его дрогнули, когда он прочитал:

— Ветрова И. М.

Он поднял глаза на Берию, и во взгляде его мелькнула смесь страха и непонимания.

— Ветрова... дочь того самого Чугунова? Младшего лейтенанта, который...

— Дочь Михаила Чугунова, — поправил полковник. — Последняя кровь якоря. Кровь, которая способна держать Жнеца в узде. Она сейчас служит в Москве, работает в следственном отделе по особо важным делам. И она даже не подозревает, что её отец погиб, спасая страну от демона.

В кабинете повисла та самая плотная, липкая тишина, которая бывает только тогда, когда люди говорят о вещах, которых не должно быть на свете. Берия перевернул лист, и на обратной стороне оказался далёкий, каллиграфический почерк Ярцева — того самого, кто уже четыре года лежал в земле, но чей план продолжал жить.

На обороте было написано всего несколько слов: «Жнец запечатан на тридцать лет. 1985 год — срок пробуждения. Дочь якоря должна быть готова. Если нет — жатва соберёт всех».

— Мне нужен план, — произнёс Берия, закрывая папку. — Пока власть не перешла к Хрущёву, пока я ещё здесь, я должен привести этот план в действие. Громов — чтобы молчал. Ветрова — чтобы в нужный час мы могли её призвать. Семь фамилий — это семь кирпичей в фундаменте нашей безопасности.

— Вы хотите, чтобы мы убили Громова? — спросил Игнатьев, и в голосе его проскользнула дрожь.

— Убить? — полковник усмехнулся, и звук его голоса походил на скрежет старого замка.

— Нет. Смерть — это слишком просто для такого человека. Громов должен исчезнуть. Бесследно. Чтобы его досье ушло в небытие вместе с ним. Только тогда проект «Заря» останется в вечности.

Берия поднялся из-за стола, и тень от его фигуры накрыла карту, разложенную на стене. Он медленно, будто отсчитывая шаги, подошёл к карте и провёл пальцем по Челябинску-40, затем по Москве, где сейчас жила ни о чём не подозревающая Инна Ветрова.

— Семь человек, — произнёс он тихо, обращаясь куда-то в темноту за картой. — Всего семь человек. Но от них зависит, проснётся ли Жнец под нашей властью или вырвется наружу, чтобы пожрать всех, кто был ему не нужен. Мы должны сделать это тихо. Очень тихо. И очень быстро.

За стенами кабинета, где-то наверху, в пустом здании на Лубянке, гулко стукнула входная дверь. Тишина. Ступени. Ещё одна дверь. Кто-то бежал по коридору, торопясь сообщить весть, которая уже разорвала тишину в Кремле.

— Через час это будет известно всем, — сказал Игнатьев, вставая. — Власть перейдёт. Нам нужно решать сейчас или никогда.

Берия не обернулся. Он продолжал смотреть на карту, и его отражение в стекле казалось бледным призраком, который не принадлежал этому миру.

— Тогда решайте, — сказал он. — Полковник, вы будете отвечать за Громова. Он должен исчезнуть сегодня же. А вы, Семён Денисович, займитесь Ветровой. Пока что — просто внесите её в списки на долгосрочное командирование. В Сибирь, на Урал. Подальше от Москвы, чтобы никто не задавал вопросов. Мы призовём её, когда придёт время.

— А если она начнёт копать? — спросил полковник, и в его голосе появилась та самая опасная нотка, которая бывает у людей, привыкших решать вопросы пулей. — Если она найдёт архивы Громова?

Берия наконец обернулся, и в его взгляде было столько ледяного спокойствия, что даже полковник опустил глаза.

— Тогда, — сказал Берия, — мы будем вынуждены напомнить ей, кто её отец. И как именно он умер. А смерть, полковник, — это всегда хороший учитель. Главное, чтобы она всё поняла до того, как жатва начнётся.

Игнатъев сглотнул. Его округлое лицо, освещённое зелёным светом лампы, казалось восковой маской, которая вот-вот треснет. Тишина в кабинете стала ещё плотнее, и в этой тишине особенно остро ощущалось, что разговор подошёл к той черте, за которой слова становятся приговором.

— Вы хотите сказать, Лаврентий Павлович, — медленно произнёс он, — что всё, что мы делали в «Молохе»... все те жертвы, тот самый Жнец, который убил Петра Чугунова... это была не основная цель?

Берия повернулся к нему, и в его взгляде мелькнула тень раздражения — не на Игнатъева, а на его непонимание.

— Конечно, нет, — отрезал он. — То, что мы видели в сорок четвёртом, — это была тень. Осколок. Жнец, рождённый из того ритуала, был неполным. Ему не хватило якоря, чтобы закрепиться в этом мире. Он выдохся за четыре минуты, как свеча на ветру. Но настоящий Жнец, — Берия понизил голос до того самого шёпота, который заставлял собеседников невольно придвигаться ближе, — настоящий Жнец всё ещё спит внутри обломков того алтаря. Мы его не разбудили. Мы просто... пощекотали его.

Полковник, сидевший неподвижно, впервые за всё время подал голос.

— А как же американцы? — спросил он, и его глухой, надтреснутый голос заполнил тишину кабинета. — У них есть свои алтари, своё «Аненербе», свои эксгумации в Европе. Если они найдут способ первыми открыть врата, мы окажемся в роли жертв.

— Именно поэтому, полковник, мы должны действовать быстрее. — Берия резко развернулся к карте, висевшей на стене, и ткнул пальцем в сторону Северной Америки. — Пока они ищут алтари в старых могильниках, мы уже знаем, как выглядят врата. Но чтобы открыть их по-настоящему, нам нужна наживка. Свежая кровь. Кровь, в которой уже есть резонанс.

— Вы говорите о Громе? — осторожно спросил Игнатъев.

— Громов — это основа, — кивнул Берия. — Он слишком много знает, чтобы оставаться в тени. Но он не просто свидетель. Он — магнит. Если американцы пронюхают про досье «Красная Месса», они сделают всё, чтобы выловить его. Мы должны использовать его как наживку, чтобы выманить их агентов на себя. А когда они клонут, у нас будет повод показать им, что такое настоящая охота.

Полковник чуть заметно улыбнулся — одними уголками губ, без тени веселья.

— Убить его? — уточнил он.

— Нет. Пока нет. — Берия покачал головой. — Убить его — значит спрятать концы. Нам нужно, чтобы он исчез, но не безвозвратно. Оставить след. Маленький, незаметный след, который приведёт нужных людей к нам. А когда они придут, тогда у нас будет шанс завершить

начатое. Настоящий Жнец должен родиться не из гнева и боли одного человека, а из жертвы целой системы. Из страха целой империи.

Он замолчал, и в кабинете воцарилась та самая вязкая, глубокая тишина, которая наступает перед большими событиями.

И тут Игнатьев услышал звук.

Это было тихое, едва различимое шипение, похожее на помехи старого радиоприёмника. Он прислушался. Звук шёл из угла кабинета, туда, где стоял массивный деревянный граммофон с блестящей чёрной трубой — старый, ещё дореволюционный, с потёртой ручкой и пыльным бархатным покрытием на диске.

Игнатьев перевёл взгляд на граммофон. На диске медленно вращалась пластинка — та самая, которую он видел здесь каждый раз, когда бывал у Берии, и никогда не придавал ей значения. Но сейчас из трубы доносился не оркестр, не голос певца, а тихий, монотонный шёпот, который звучал на неизвестном языке — гортанном, с долгими гласными и резкими щёлкающими согласными. Словно кто-то читал заклинание.

Шёпот был низким, почти инфразвуковым, и от него по коже пробегали мурашки.

— Лаврентий Павлович, — осторожно перебил Игнатьев, кивнув в сторону граммофона, — что это за запись?

Берия даже не обернулся. Он смотрел на карту, изучая линии, которые сам же нарисовал красным карандашом.

— А, это, — рассеянно бросил он. — Запись из старого архива. Профессор Шестаков оставил. Какой-то древний ритуальный напев. Я иногда включаю для фона, когда нужно подумать. Это успокаивает.

Игнатьев переглянулся с полковником. На лице Игнатьева было написано недоумение, смешанное с едва заметным ужасом. Полковник же не шевельнулся. Он лишь на мгновение скосил глаза в сторону граммофона, и в его взгляде мелькнула тень понимания — или, возможно, тень узнавания.

— Значит, мы начинаем прямо сейчас? — спросил полковник, игнорируя шёпот.

— Прямо сейчас, — отрезал Берия. — Возьмите Громова. Подготовьте операцию «Невидимка». У вас есть два дня. Игнатьев, вы отправляете Ветрову под благовидным предлогом в Челябинск-40, но не в лабораторию. На время. Когда придёт срок, мы объявим мобилизацию. Пусть пока думает, что это просто служебная командировка.

— А граммофон? — вдруг спросил Игнатьев, не в силах оторвать взгляда от чёрной трубы.

Берия наконец обернулся, и на его губах мелькнула тень странной, почти мрачной усмешки.

— Оставьте его, Семён Денисович. Он играет ровно то, что нужно. Ни больше, ни меньше.

Он снова повернулся к карте, давая понять, что разговор окончен. Игнатьев, чувствуя, как пот стекает по позвоночнику, поднялся и быстро вышел из кабинета. Полковник последовал за ним молча, закрыв за собой тяжёлую дверь.

Когда шаги затихли в коридоре, Берия остался один.

Он стоял у карты, опираясь на массивный стол, и смотрел на красные линии, тянущиеся от Москвы к Челябинску, от Челябинска — в глухую сибирскую тайгу, а оттуда, через весь океан, прямо к столице врага.

И в углу, под потускневшим жестяным абажуром, граммофон всё ещё вращался. И шёпот — бесконечный, терпеливый, древний — продолжал звучать, пробиваясь сквозь уютные помехи электрической лампы. Он не стихал ни на секунду. Он ждал. Точно так же, как ждал Жнец, запертый в обломках алтаря, — и, возможно, знал уже, что тридцать лет до его пробуждения пройдут быстрее, чем одно мгновение в вечности.

Берия не обернулся на граммофон. Он его не слышал. Или делал вид, что не слышит.

Но тот же самый шёпот, казалось, разливался далеко за пределами кабинета, просачиваясь сквозь стены Лубянки в холодный ноябрьский воздух, чтобы к утру достичь Чистых прудов — туда, где над чёрной водой стелился густой, молочный туман.

Московское утро встретило Чистые пруды именно так. Лёд ещё не встал — ноябрь только начинался, и холодная гладь отражала серое небо, как зеркало, в которое никто не хотел смотреть. Рыбаки, двое пожилых мужиков с заскорузлыми руками и вечными удочками, сидели на скамейке у самого берега и клевали носом, изредка поглядывая на поплавки.

— Тишина-то какая, — тихо сказал один из них, Василий, почесывая затылок под старой кепкой. — Словно город вымер.

— Может, и вымер, — буркнул второй, Степан, и поправил удочку. — Сталина-то вчера не стало. Слышал? Говорят, теперь всё по-новому будет.

— Да какое там «по-новому», — отмахнулся Василий. — Эти, сверху, всё те же. Только портреты поменяют.

Они замолчали. Где-то вдалеке послышался шум проезжающей машины, но он быстро затих, поглощённый густым утренним туманом. Вдруг поплавок Василия резко ушёл вниз.

— О! Ключёт! — встрепенулся он и потянул удочку.

Леска натянулась, но рыба не шла легко. Она шла тяжело, с сопротивлением, словно зацепилась за корягу или за что-то очень крупное. Василий крикнул, упёрся ногами в землю и начал выбирать снасть. Степан подскочил к нему, готовый помочь.

— Да что там, сом, что ли? — удивился Степан, хватая леску.

— Не сом, — отрывисто выдохнул Василий, чувствуя, как по рукам разливается странный, ледяной холод. — Тяжёлое что-то... очень тяжёлое.

Они тянули вдвоём, и вскоре из чёрной, маслянистой воды показался тёмный силуэт. Сначала это показалось им просто старой, мокрой шинелью — такие иногда топили пьяные, чтобы не мёрзнуть. Но когда ткань показалась над поверхностью, они оба осеклись.

Туман рассеялся ровно настолько, чтобы они увидели лицо.

Это было лицо мужчины лет сорока. Бледное, почти восковое, с застывшим в глазах выражением крайнего, непереносимого ужаса. Рот его был приоткрыт, и в нём темнела вода пополам с грязью. Но самой страшной деталью была не поза и не выражение лица. Самым страшным было то, что у него не было горла.

Глубокая, рваная рана перерезала шею от уха до уха. Края её были аккуратными, почти хирургическими, но в том месте, где должны были быть мышцы и хрящи, зияла чёрная, бездонная пустота, словно кто-то не просто разрезал, а вынул всё содержимое наружу.

— Господи... — прошептал Степан, перекрестился и отступил на шаг, едва не упав в грязь.

Василий не мог оторвать взгляда. Леска в его руках ослабла, и он медленно опустил удочку на землю. Его глаза, привыкшие видеть рыбу, а не мёртвых людей, лихорадочно скользили по телу. Оно было в форме. Майорская шинель, тёмно-синяя, с аккуратными петлицами, на которых уже не было звёзд. Под шинелью — разорванная гимнастёрка. И там, на груди, где обычно темнеет карман или награды, зияла другая рана.

Кто-то вырезал на его коже знаки.

Они не были похожи ни на буквы, ни на цифры. Это были странные, угловатые символы, сплетающиеся в спирали и кривые линии. Некоторые из них напоминали руны, которые Степан когда-то видел в старом журнале у знакомого коллекционера. Но здесь, на живой, мёртвой коже, вырезанные с пугающей, ювелирной точностью до самой кости, они выглядели как проклятие.

— Степан, — прохрипел Василий. — Степан, посмотри, что это за знаки...

Степан пересилил себя, подошёл поближе и, отвернув лицо, чтобы не видеть зияющей шеи, заглянул на грудь майора. Руны ещё не успели потемнеть от времени — они были свежими, влажными, и в тех местах, где кожа разошлась, проступала тёмная, застывшая кровь. Казалось, их вырезали всего несколько часов назад.

— А в кармане... — прошептал Степан, указывая на оттопыренный клапан шинели. — Там что-то есть. Документы, наверное.

Василий, пересилив дрожь, опустил руку в карман мёртвого майора. Пальцы нащупали холодную, плотную картонную обложку, обитую дерматином. Он вытащил удостоверение и, держа его дрожащими руками, открыл первую страницу.

На фотографии, приклеенной в уголке, улыбался тот самый человек с тёмными, внимательными глазами — живой, счастливый, ещё не знающий своей участи. Рядом стояла подпись: «Тучков Владимир Викторович. Майор. Войсковая часть 6282».

— Майор, — глухо выдохнул Василий, закрывая удостоверение и быстро засовывая его обратно в карман шинели. — Он, похоже, из тех самых... из органов.

— Надо звонить, — перебил его Степан, отступая назад, подальше от страшной находки. — В милицию. Или ещё куда. Это же убийство! Ритуальное убийство, какие в газетах пишут!

— Беги! — сказал Василий. — Беги к телефону-автомату, пока кто-то не увидел. А я постою, покараулю.

Степан сорвался с места и побежал, проваливаясь в сырую листву и грязь, оставляя за собой шлейф тумана. А Василий остался стоять над телом.

Он смотрел на мёртвое лицо майора Тучкова, на его остекленевшие глаза и на глубокие, чёрные руны, вырезанные на груди. И в тишине утреннего тумана, где-то на грани слышимости, он вдруг уловил звук. Едва различимый, похожий на шёпот на древнем, неизвестном языке.

Шёпот шёл не откуда-то сбоку. Он шёл из глубины тела, из самой чёрной воды, из разорванного горла, над которым уже кружились невесть откуда взявшиеся мухи. Василий, человек простой, не искушённый в мистике, вдруг понял: тот, кто это сделал, уже услышал ответ. И ответ был голодным.

А за три километра от Чистых прудов, в кабинете на Лубянке, полковник с бледным лицом и шрамом на щеке просматривал сводку, только что доставленную курьером. Он отложил бумагу, повернулся к граммофону, который всё ещё стоял в углу, и чуть заметно улыбнулся.

— Первая нота сыграна, — прошептал он, и в его голосе не было ни капли сожаления. — Теперь «Невидимка» начнёт свой танец. А ты, майор Тучков, послужишь наживкой, которая приведёт к нам всех, кому суждено сгореть в новой жатве.

Граммофон продолжал вращаться, и шёпот из чёрной трубы звучал ровно так же, как звучал он внутри мёртвого тела, — бесконечно терпеливо, бесконечно голодно.

Но у этой сцены был ещё один зритель — живой и невидимый.

Чистые пруды, тот же самый ноябрьский туман. Но теперь он смотрел на них не с берега, а из-за ствола старого тополя, выросшего корнями в мокрую землю.

Владимир Тучков стоял неподвижно, слившись с серой корой, и смотрел, как два рыбака суется вокруг тела, которое лежало на берегу. Он видел, как один из них, тот, что помоложе, сорвался и побежал к телефону. Видел, как второй, старший, остался стоять над трупом, крестясь и бормоча что-то себе под нос. Видел, как из кармана убитого извлекли его собственное удостоверение.

Он не чувствовал ни гнева, ни страха. Только холодное, вязкое оцепенение, которое накрыло его с головой, как только он впервые увидел фотографию в вечерней сводке — фотографию человека, который лежал сейчас на берегу с перерезанным горлом. Человека, которого он никогда раньше не встречал. Но на которого был похож, как родной брат.

Идеальный двойник. Те же скулы, тот же разрез глаз, та же форма губ. Даже родинка за правым ухом — та самая, которая случайно отмечена в его личном деле и которую невозможно подделать обычным гримом.

— Они сделали это, — прошептал Тучков, и его голос сорвался на хрип. — Они сделали это, чтобы я исчез.

Он отступил в тень густого кустарника, когда услышал вой милицейской сирены, доносящийся с Садового кольца. Рыбаки уже сустились, показывая на воду, и вскоре на берег должны были сбегаться люди. Времени у него было ровно столько, чтобы не попасться.

Он развернулся и нырнул в переулок, оставляя за спиной Чистые пруды, туман и мёртвого двойника.

Через два часа, когда Москва уже гудела слухами о странной находке, Тучков сидел в тесной, сырой каморке на окраине города — одной из тех, что снимались на подставное имя и никогда не значились в официальных реестрах. Здесь не было окон, только тусклая лампочка под потолком, железная койка и старый сейф, вмурованный в бетонную стену.

Он сидел на краю койки, опустив голову, и перебирал в памяти события последних месяцев — как киноплёнку, прокручиваемую назад.

Генерал Шторм. Высокий, худой, с седыми висками и вечно воспалёнными от недосыпа глазами. Он взял Тучкова в свой отдел ещё в пятьдесят втором, когда тот был простым капитаном. Шторм искал людей, которые умеют молчать, — и умеют видеть то, что не написано в отчётах. Тучков работал на него без лишних вопросов: перегонял документы, проверял подозрительные связи, искал нити, ведущие к тем самым закрытым проектам, о которых даже в КГБ говорили шёпотом.

А потом пришёл Громов.

Тучков вспомнил ту встречу в коридоре старого архива на Лубянке. Капитан Громов — спокойный, с серыми, ничего не выражающими глазами — остановил его и сказал всего одну фразу: «Вы работаете на Шторма? Передайте ему: кто-то сливает данные на сторону. Ваши контакты уходят в Челябинск-40». Тучков тогда не поверил. Но доложил Шторму. А Шторм, вместо того чтобы благодарить, побледнел и велел ему забыть.

Через неделю генерал Шторм был мёртв. Официально — инфаркт. Но Тучков знал правду. Он видел, как из кабинета Шторма выносили коробку с документами, которую наутро уже не было нигде. А ещё через три дня его собственное имя всплыло в сводке как «лицо, разыскиваемое за разглашение гостайны».

Его подставили. Кто-то снова запускал механизм «Красной Мессы» — и для начала нужно было избавиться от тех, кто знал о её первом этапе. Шторм знал. Громов знал. И он, Тучков, знал тоже.

И вот теперь — этот двойник. Мёртвый майор с вырезанными рунами на груди и его именем в кармане.

Тучков медленно поднялся, подошёл к сейфу и набрал шифр. Замок щёлкнул. Внутри лежали две вещи — потёртый пистолет ТТ, который он никогда не носил с собой, и старый, в кожаном переплёте, дневник генерала Шторма. Тот самый, который он вынес из кабинета за десять минут до того, как туда вошли люди с ордером на обыск.

Он взял дневник и сел обратно на койку. Кожа на обложке была тёплой, потёртой, со следами пальцев. Тучков медленно раскрыл первую страницу.

На ней, выведенная аккуратным, каллиграфическим почерком Шторма, стояла дата и короткая запись: «Операция „Заря“ завершена. Алтарь уничтожен. Но ворота не закрыты. Жнец запечатан. Следующее пробуждение — через тридцать лет. 1985 год. Если до того времени мы не найдём способ обезвредить его, жатва начнётся сначала. Я оставляю этот дневник тем, кто придёт после меня. Берегитесь тех, кто ищет якорь».

Тучков перевернул страницу.

И увидел руну.

Она была нарисована в самом низу листа, поверх текста, чёрными чернилами, но не тем же почерком, каким писал Шторм. Кто-то другой, более торопливый, более нервный, начертил её короткими резкими штрихами. Она была не похожа ни на одну из тех, что он видел в старых архивных фотографиях. Три изогнутые линии, расходящиеся от центрального круга, и в каждой линии — крошечные точки. Она напоминала одновременно и какой-то древний символ, и схему подземных коммуникаций, и даже очертание человеческого скелета, сжавшегося в комок.

Тучков провёл пальцем по линии — и кожа на подушечке мгновенно покрылась мурашками. Руна была холодной. Настолько холодной, что пальцы задрожали.

— Ты это нарисовал, — прошептал он, обращаясь не то к мёртвому генералу, не то к себе. — Или те, кто тебя убил. Ты оставил это для меня.

Он закрыл дневник, спрятал его обратно в сейф и достал пистолет. Взвесил его в руке — привычный вес, холодный металл, проверенный боёк.

Снаружи, за стенами каморки, Москва просыпалась после ночи смерти вождя. Где-то в центре города, на Лубянке, уже наверняка обсуждали труп майора Тучкова с вырезанными рунами. И где-то там, среди безликих кабинетов, сидел человек, который знал, что настоящий Тучков жив.

— Хорошо, — сказал он вслух и встал. — Если они хотят, чтобы я был мёртв, значит, я стану тем, кого они боятся. Я найду того, кто нарисовал эту руну. Я найду того, кто стоит за Грозовым и Ярцевым. И я остановлю жатву. Или погибну, попытаюсь.

Он достал из тайника под половицей старый, линялый плащ, накинул его на плечи и выскользнул в ночную улицу. На Чистых прудах уже горели фары оперативной машины, но Тучков не оглянулся. Он шёл в другую сторону — туда, где старый дневник Шторма обещал ему ответы.

А где-то в подвале Лубянки, в кабинете, которого не было ни на одном плане здания, полковник с бледным лицом и шрамом на щеке смотрел на фотографию двойника, только что отправленную из криминалистической лаборатории. Он взял красный карандаш и перечеркнул лицо на снимке.

— Тучков мёртв, — сказал он, обращаясь к пустому стулу напротив. — Официально. А значит, охота на живого Тучкова теперь не подчиняется закону. И мы начнём искать его там, где он прячется, — в тех самых тенях, которые когда-то принадлежали генералу Шторму.

Граммофон в углу кабинета всё ещё вращался, и шёпот на неизвестном языке перекрывал тишину комнаты, как невидимая, бесконечная нить, связывающая прошлое с будущим.

Глава 1. Свиток Жатвы

Апрельский ветер завывал в вентиляционных шахтах подвального архива, но здесь, в каморке Всеволода Громова, было тихо. Слишком тихо. Тишина давила на уши, как ватная пробка, и единственным звуком, нарушавшим её, было сухое поскрипывание переворачиваемых страниц.

Громов сидел за столом, сторбившись над стопкой выпцветших машинописных листов. Прошло почти полгода с той ночи, когда умер Сталин, и всё это время он жил в ожидании удара. Но удар не приходил. Вместо этого пришла бумажная волна — сводки, рапорты, протоколы, которые стекались в его архив откуда-то из недр расформированного «Молоха». Кто-то, очевидно, решил, что если проект заморожен, то все его бумаги должны лежать в одном месте — подальше от чужих глаз. И это место оказалось здесь, в подвале, под началом бывшего капитана, а ныне — молчаливого архивариуса.

Он перебирал их уже третью ночь подряд.

На столе лежали выписки из дневников профессора Шестакова, которые тот вёл ещё в сорок первом. Рядом — копии показаний санитаров, которые когда-то выносили тела из лабораторного зала. Но самым странным был отдельный лист, приклеенный к одной из папок скотчем. На нём, тушью, был выведен символ, которого Громов никогда раньше не видел.

Три изогнутые линии, расходящиеся от центрального круга, и в каждой линии — крошечные точки. Символ был нарисован небрежно, торопливо, словно тот, кто его чертил, боялся, что его застанут. Но даже сквозь небрежность проступала пугающая, почти математическая точность. Линии не были случайными — они явно подчинялись какому-то внутреннему ритму.

Громов взял лист и поднёс его к лампе. Бумага была старой, пожелтевшей, но чернила ещё не выцвели. Он провёл пальцем по контуру круга, и по коже пробежал холодок — тот самый, который он помнил по лаборатории, когда чёрный туман начинал подниматься из алтаря.

— Откуда ты взялся? — прошептал он, обращаясь к листу, словно тот мог ответить.

Ответа не было. Но Громов знал: этот символ был найден в личных вещах генерала Шторма. Какой-то офицер из центрального аппарата, переправляя архив в Челябинск, случайно прихватил его вместе с другими бумагами. Случайно ли? Громов не верил в случайности. Слишком долго он работал в системе, чтобы верить в совпадения.

Он отложил лист и посмотрел на часы. Было начало третьего ночи. В такие часы в архиве не должно быть никого, кроме него. Но он чувствовал — кожей, затылком, той звериной чуткостью, что не раз спасала ему жизнь, — за ним наблюдают. Не через глаза, не через приборы. Просто присутствие. Чужое, холодное, как сквозняк из незакрытой двери.

Он встал, подошёл к двери и выглянул в коридор. Пусто. Только тусклая лампа под потолком гудит, да тени от стеллажей ложатся на пол длинными серыми пальцами.

Громов вернулся к столу и сел. Взгляд его упал на пустой стул, где обычно сидела Зинаида Молчанова, когда заходила к нему после обхода. В последний раз она была здесь три дня назад. Тогда она сказала, что чувствует «липкий взгляд» в спину, когда выходит с работы, и что люди в штатском дважды появлялись у её дома. Она не паниковала — она вообще была не из тех, кто паникует, — но в её птичьих глазах мелькнула та самая настороженность, которую Громов видел у зверей перед грозой.

— Уеду к тётке в Свердловск, — сказала она тогда, стоя на пороге, сжимая в руке узелок. — Там меня не достанут. А ты, начальник, береги себя. Они за тобой тоже придут. Не сегодня, так завтра. Только ты не беги. Тебе бежать некуда.

И ушла. В ту же ночь. Её комната в коммунальной квартире, где она жила последние десять лет, опустела, и соседи только пожимали плечами: «Уехала, сказала, по делам».

Теперь Громов был один.

Он снова взял лист с руной и перечитал все свои записи, сделанные за последние недели. Он пытался сопоставить этот символ с теми, что были вырезаны на алтаре. Ничего общего. Те были угловатыми, рублеными, с резкими переходами. Этот — плавный, почти живой, как след змеи на песке. Но в нём чувствовалась та же сила. Та же древняя, тёмная воля, которая когда-то вырвалась из смоленского кургана и унесла жизни братьев Чугуновых.

Он закурил папиросу и выпустил дым в сторону тусклой лампы. Дым пополз вверх, смешиваясь с тенью от абажура.

— Если ты — ключ, — прошептал он, — то я найду твой замок. Или умру, попытаюсь.

Он затушил окуроч, сложил листы в стопку и убрал в тайник в вентиляционном коробе. Но перед этим, сделав паузу, он взял карандаш и перерисовал символ на отдельный клочок бумаги — на случай, если тайник обнаружат. Он спрятал клочок в нагрудный карман кителя, поближе к сердцу, и запер папку на ключ.

В коридоре послышался звук. Шаги. Медленные, тяжёлые, явно не женские. Кто-то спулся в подвал. Громов замер, положил руку на кобуру, где всегда лежал его старый ТТ с серебряными патронами. Шаги приближались, остановились у двери. Тишина. Потом резкий, отрывистый стук.

— Капитан Громов? — раздался глухой голос из-за двери. — Откройте. Приказ из Москвы. Срочно.

Громов медленно выпрямился, поправил китель и шагнул к двери. Внутри у него всё сжалось, как перед боем. Он знал: это только начало. Жатва приближалась, и первый её колос уже склонился над его головой.

Он повернул ключ и открыл дверь. На пороге стоял незнакомый капитан с бледным, бескровным лицом и бумагой в руках.

— Всеволод Аркадьевич Громов? — переспросил тот, не входя, словно боялся переступить порог. — Вам предписано прибыть в Москву. Завтра. К десяти утра. Вам выделен отдельный вагон.

Громов взял бумагу, пробежал глазами по строкам. Приказ был подписан не кем-то, а начальником управления кадров лично. Подпись была размашистой, уверенной — и совершенно незнакомой.

— Что там, в Москве? — спросил он, не поднимая головы.

— Не моё дело, капитан, — сухо ответил курьер. — Мне приказано доставить приказ и проследить, чтобы вы явились. Всё.

Он щёлкнул каблуками, развернулся и быстро зашагал обратно по коридору. Его шаги затихли в дальнем конце, а Громов всё стоял у двери, сжимая в руке бумагу. Он чувствовал, как холодный апрельский воздух, просачивающийся из вентиляции, заполняет лёгкие, и как на груди, в кармане кителя, отзывается новый символ — тёплый, живой, словно дышащий.

— Что ж, — сказал он тихо, ни к кому не обращаясь. — Если они хотят меня видеть — я приеду. И посмотрим, кто кого перехитрит.

Когда шаги курьера окончательно стихли, Громов закрыл дверь и вернулся к столу. Только теперь он заметил, что курьер оставил не только приказ, но и плотный серый конверт с сургучной печатью на клапане. Печать была не казённой, не стандартной, а какой-то странной — с неровными краями и неразборчивым оттиском.

Он разорвал конверт и извлёк сложенный вдвое лист машинописной бумаги. Развернул его. Приказ был кратким: «Капитану Громову В. А. предписывается явиться в Главное управление МГБ (г. Москва) для консультации по вопросам архивной работы. Явка обязательна.

Срок — 15 апреля 1953 года, 10:00. Ответственный за организацию — полковник Кротов В. С.».

Громов перечитал текст дважды, пытаясь найти в нём хоть что-то, что могло бы объяснить этот вызов. Но всё было сухо и официально. Никаких «особых обстоятельств», никаких упоминаний о «Молохе» или старых делах. Просто консультация.

— Кротов, — повторил он вслух, пробуя имя на вкус. — Вадим Сергеевич. Никогда о таком не слышал.

Он отложил бумагу и взял в руки конверт. И тут его пальцы наткнулись на что-то странное. На обратной стороне конверта, почти незаметный, сливающийся с фактурой серой бумаги, был оттиск — не сургучный, а как будто сделанный обычным карандашом, но с сильным нажимом. Не печать, не штамп. Рисунок.

Громов перевернул конверт и поднёс его к лампе. При тусклом свете проступили три изогнутые линии, расходящиеся от центрального круга, и в каждой линии — крошечные точки.

Он замер. Сердце пропустило удар.

Это был тот самый символ. Тот, что он нашёл в листе, подброшенном после смерти Ярцева. Тот, что он перерисовал и носил теперь в нагрудном кармане, прижатый к груди. Тот самый.

Он медленно опустил конверт на стол и некоторое время сидел неподвижно, глядя на него, как на только что обнаруженную мину. В голове проносились десятки мыслей, но ни одна из них не давала ответа. Почему этот знак появился на официальном письме? Кто такой этот полковник Кротов, и какое отношение он имеет к символу, оставленному мёртвым генералом?

Он снова взял приказ и перечитал подпись внизу: «Полковник Кротов В. С.». Почерк был ровным, почти каллиграфическим, без единой помарки. Но в нём чувствовалась та же рука, что вывела символ на конверте, — уверенная, холодная, не терпящая возражений.

Громов откинулся на спинку стула и закурил. Дым поплыл к потолку, смешиваясь с тенью от лампы. Он знал: это не просто консультация. Это ловушка. Или приглашение к игре, где ставки были выше, чем он мог себе представить.

Он достал из нагрудного кармана клочок бумаги с перерисованным символом и положил его рядом с конвертом. Сравнил. Линии совпадали идеально, до последней точки. Никаких сомнений — это был один и тот же знак.

— Значит, Кротов, — прошептал он, обращаясь к пустоте кабинета. — Ты — тот, кто продолжает дело Ярцева. Или тот, кто пытается его перехватить.

Он затушил папиросу, аккуратно сложил приказ, конверт и клочок бумаги в одну стопку и убрал в ящик стола. Потом встал, подошёл к сейфу и открыл его. Папка «Красная Месса» лежала на прежнем месте, но теперь рядом с ней он положил ещё один лист — чистый, на котором решил записать всё, что знает о Кротове. Пока было пусто. Но он собирался заполнить его в ближайшие дни.

— Если ты хочешь сыграть со мной, — сказал он вслух, закрывая сейф, — то я приму твою партию. Но запомни, полковник: ты имеешь дело с тем, кто видел, как умирали боги.

Он потушил свет, вышел из каморки и запер дверь. В коридоре было темно, только гул ламп из дальнего конца подвала напоминал, что здесь ещё теплится жизнь. Громов медленно направился к выходу, но на полпути остановился. Ему показалось, что из-за поворота доносится тихий, ритмичный шёпот — тот самый, который он слышал раньше из граммофона в кабинете Берии. Он прислушался. Тишина.

Он пошёл дальше. Но в голове его теперь навсегда поселился этот знак, и где-то глубоко внутри, как зажжённый фитиль, уже тлело предчувствие, что жатва, о которой говорили старые записи, приближается быстрее, чем он ожидал.

В ту же ночь, но в другом конце страны, в Москве, в тесной каморке на окраине, майор Владимир Тучков сидел на краю железной койки, сжимая в руках потёртый кожаный переплёт

дневника Шторма. Он перечитал первые страницы уже трижды, но его взгляд то и дело возвращался к той самой руне, начерченной в самом низу листа. Три линии, круг, точки. Она не давала ему покоя. Она звала его куда-то назад — в тот день, который он старался забыть, но который теперь, словно по чьей-то злой воле, всплывал из памяти с пугающей отчётливостью.

Восьмое мая 1945 года. Берлин. Чёрный от копоти, пропитанный гарью, грохотом орудий и криками умирающих. Рейхстаг — огромная, изуродованная коробка, из окон которой ещё вырывались языки пламени. Тучкову тогда было всего восемнадцать. Он был сержантом разведки, одним из тех, кто первым врвался в здания, проверяя, не осталось ли там затаившихся фашистов.

— Защищаем подвалы! — крикнул командир, и Тучков, сжимая в руках трофейный «шмайссер», побежал вниз по каменным ступеням, покрытым битым стеклом и чьей-то кровью.

Подвал был огромным, состоящим из десятков комнат, заваленных обломками и бумагами. Тучков двигался первым, его шаги гулко отдавались в пустых коридорах. Вдруг он заметил, что одна из дверей в конце длинного перехода была чуть приоткрыта, и из-под неё струился слабый, желтоватый свет.

Он толкнул дверь плечом, и она медленно, со скрипом, отворилась.

Комната была небольшой, квадратной, с высоким потолком, на котором висела тусклая лампа. Но не это поразило Тучкова. Вдоль стен, от пола до потолка, были исписаны странные знаки — те самые угловатые руны, которые он видел на старых фото в учебниках. Они были вырезаны прямо в бетоне, грубо, но с явным намерением. Никакой краски, просто глубокие борозды, словно кто-то долбил их кайлом много часов.

Посреди комнаты стоял массивный дубовый стол. На столе, в беспорядке, лежали раскрытые книги в кожаных переплётах, какие-то карты, испещрённые странными линиями, и несколько стеклянных банок с мутной жидкостью.

Тучков сделал шаг вперёд и заглянул в одну из банок. Сердце пропустило удар.

Внутри, в мутном растворе, плавал человеческий глаз. Над ним, в другой банке, — отрезанное ухо. В третьей — что-то похожее на язык, сморщенный и почерневший. Банок было не меньше десятка, и в каждой — отдельный орган, бережно законсервированный. Создавалось впечатление, что кто-то собирал их как коллекцию, подписывая каждую этикеткой с непонятной аббревиатурой.

Тучков почувствовал подступающую тошноту, но пересилил себя. Он подошёл к столу и обратил внимание на толстую тетрадь в чёрном переплёте, лежащую поверх карт. На обложке, золотым тиснением, была выведена надпись на немецком: «Projekt: Ernte» — «Проект: Жатва».

Он взял тетрадь в руки. Она была тяжёлой, почти как кирпич, и пахла старой бумагой, воском и чем-то сладковатым — возможно, теми самыми жидкостями из банок. Тучков открыл первую страницу. Текст был написан аккуратным, готическим почерком, на немецком, но не в стиле военной документации, а скорее в стиле личного дневника. Вверху стояла дата: «23. April 1945». А ниже — подпись, которую Тучков запомнил на всю жизнь: «Dr. Friedrich von Stolz, Abteilung für okkulte Forschungen».

— Доктор фон Штольц, — прошептал он тогда, стоя в пустой комнате, среди банок и рун.

Он не успел прочитать больше ни слова. Сзади послышались шаги — подбегали другие бойцы.

— Тучков! Ты где? — крикнул кто-то из коридора. — Чисто?

— Чисто! — ответил он, быстро пряча тетрадь под шинель. — Никого. Только мёртвые бумаги.

Он вышел из комнаты и прикрыл дверь, оставив банки и руны за спиной. Тогда он не знал, что в этой тетради — ключ к тому самому «Аненербе», о котором ходили слухи. Он не знал, что спустя годы, когда он уже станет майором и будет работать на генерала Шторма,

эта тетрадь всплывёт снова — и свяжет его с проектом «Молох», с братьями Чугуновыми и с чёрным алтарём, который они так и не смогли уничтожить до конца.

Сейчас, в каморке, Тучков оторвал взгляд от дневника Шторма и посмотрел на свою левую руку, где под манжетой всё ещё хранился старый шрам — память о том дне, когда он, сжимая под шинелью тетрадь фон Штольца, впервые пересёк черту, за которой началась его настоящая война.

Он достал из тайника ту самую немецкую тетрадь, которую привёз из Берлина и прятал все эти годы. Её обложка была потёртой, но золотое тиснение сохранилось. Он открыл её на последней странице и увидел рисунок — тот самый, что был на дневнике Шторма.

Три линии, расходящиеся от круга, и точки.

— Ты был там, — прошептал он, обращаясь к мёртвому генералу. — Ты знал, что это значит. И ты оставил мне ключ. Но теперь ключ показывает на того, кто сидит в кабинете на Лубянке. Полковник Кротов. Ты оставил мне не только руно — ты оставил мне врага.

Он закрыл тетрадь и спрятал обе — немецкую и дневник Шторма — обратно в сейф. Снаружи, за окнами каморки, уже брезжил рассвет, и далёкий гул Москвы, просыпающейся после ночи, напоминал ему, что время уходит. Скоро он должен был встретиться с полковником Кротовым. И он собирался прийти на эту встречу с тайной, которую Кротов явно не ожидал.

Прежде чем покинуть убежище, Тучков решил ещё раз перечитать дневник фон Штольца — теперь, зная то, что знал о руно. Память услужливо воскресила подробности той самой ночи в Берлине. Он будто наяву увидел себя, восемнадцатилетнего сержанта, в полуподвальной комнате разрушенного дома, склонившегося над тетрадью при свете огарка свечи.

Он пролистал тетрадь в ту же ночь, лёжа в разбитом берлинском доме, где они с товарищами устроили временный пост. Снаружи ещё гремели взрывы, где-то вдалеке стреляли, но здесь, в полуподвальной комнате, стояла странная, глухая тишина — как будто война обходила это место стороной.

Тучков зажгёт огарок свечи, придвинул тетрадь к свету и начал читать.

Почерк был готическим, но он знал немецкий — в разведшколе успели научить. Первые страницы уходили в далёкий сорок третий год. Дневник вёл не просто врач, не просто офицер. Это был оберштурмфюрер СС Фридрих фон Штольц — высокий, светловолосый, с идеальной осанкой, какими их рисовали на пропагандистских плакатах. Но за этой идеальной картинкой скрывался человек, который проводил эксперименты над пленными в концлагерях. Не просто пытки — систематические, задокументированные опыты над человеческой волей.

На одной из страниц фон Штольц писал: «Мы пытаемся отделить душу от тела. По моим расчётам, это возможно при определённом сочетании звуковых частот и точном нанесении символов, оставленных нашими предками. Тот, кто сможет управлять этим процессом, сможет управлять самой смертью».

Тучков перелистнул дальше. Следующая страница была испещрена схемами — теми самыми рунами, которые он видел на стенах подвала. К каждой руне шли примечания: «Символ связывания», «Символ открытия врат», «Символ жатвы». Фон Штольц явно что-то знал о том, что позже назовут «Красной Мессой». Он искал те же врата, что и Ярцев, но опередил его на несколько лет. И он почти их открыл.

— Почти, — прошептал тогда Тучков, переворачивая последнюю страницу. — Ты был близок, оберштурмфюрер. Но ты не успел. А твой дневник теперь мой.

Он закрыл тетрадь и спрятал её под матрац, ближе к телу. И в ту же минуту принял решение: никому не говорить о находке.

Служивцы не знали. Командир не знал. Даже когда через несколько дней они вернулись в расположение, Тучков просто сказал, что нашёл «всякий немецкий хлам, бумажки какие-то».

И никто не задал вопросов. Война заканчивалась, и каждый думал о своём — о возвращении домой, о хлебе, о жизни.

А Тучков думал о рунах.

Прошли месяцы. Берлин остался позади. Тучков демобилизовался, вернулся в Саратов, устроился на завод — но мыслями он всё ещё был в том подвале. Он читал дневник фон Штольца по ночам, перерисовывал символы, пытался понять их логику. Что-то в них было — не просто магия, не просто средневековое суеверие. В них была система. Структура. Язык, который не подчинялся обычной грамматике.

К концу сорок шестого года он решил: он не сможет жить, не узнав большего. И в сорок седьмом, когда объявили новый набор в школу КГБ, он подал документы. На собеседовании кадровик спросил, почему он хочет работать в органах, имея за плечами всего лишь фронтовой опыт и среднее образование.

Тучков ответил коротко:

— Я хочу знать, с чем мы воевали. И с чем нам ещё предстоит воевать.

Кадровик усмехнулся, но принял его. Никто не знал, что в вещмешке Тучкова, под сменной бельё, лежала потёртая немецкая тетрадь с символами, которые не должен был видеть никто.

Так он оказался в КГБ. Сначала стажировка, потом отдел по работе с трофейными документами, потом — служба у генерала Шторма. И все эти годы он ни разу не показал дневник никому. Он носил его с собой, перечитывал по несколько раз в год, и каждый раз находил в нём что-то новое — как будто символы сами менялись со временем, открываясь только тому, кто умел ждать.

А теперь, в пятьдесят третьем, когда его объявили в розыск и подставили двойника, он понял: дневник фон Штольца — это не просто память о войне. Это оружие. Им он сможет ударить того, кто сейчас сидит на Лубянке и подписывает приказы на его ликвидацию.

Он достал тетрадь из тайника, прижал к груди и закрыл глаза. Перед ним стоял образ оберштурмфюрера — высокого, с холодными голубыми глазами, который тоже искал ответы. Только он искал их для рейха, а Тучков — для себя. И, может быть, для той самой истины, которая стоила жизни генералу Шторму и братьям Чугуновым.

— Я выжил, — прошептал он. — Я выжил, чтобы закончить то, что ты не смог. И если Кротов думает, что он справится со мной, используя мою же тень, то он сильно ошибается.

Он спрятал тетрадь обратно, накинул плащ и вышел в ночь. Москва встретила его той же тишиной, что и всегда, но теперь в ней отчётливо слышался шёпот — тот самый, который он впервые услышал в подвале Рейхстага. Шёпот жатвы, которая ещё не началась, но уже приближалась.

Глава 2. Кровь на подоконнике

Ленинград встретил её серым, промозглым апрелем. Небо над Невой висело низко, словно мокрый брезент, и ветер с залива гнал по набережной колючую изморось. Инна Ветрова жила в крошечной комнате в коммунальной квартире на Петроградской стороне — с высокими потолками, облупившейся лепниной и вечным запахом сырости, который, казалось, въелся в стены ещё с блокадных лет.

Она поселилась здесь два месяца назад, получив направление из Москвы. Формально — инспектор в Музей обороны и блокады Ленинграда. Работа была тихой, бумажной: сверять описи, проверять сохранность экспонатов, писать отчёты. Никакой стрельбы, никаких погонь. Идеальное место для того, чтобы залечь на дно, подальше от столичной суеты и от тех, кто мог бы задавать лишние вопросы.

Но тишина не приносила покоя.

По ночам, когда город затихал и только трамваи изредка позвякивали на поворотах, Инна ложилась в свою жёсткую койку, закрывала глаза и проваливалась в одно и то же.

Сон начинался одинаково: она стояла на коленях в густом, мокром снегу. Винтовка — старая, с потёртым прикладом и оптическим прицелом, который был чуть сбит вправо, — лежала на сгибе локтя. Руки её, чужие, но послушные, как у марионетки, привычно поправляли ремень, прижимали приклад к плечу. Она смотрела в прицел. В перекрестии, на фоне серого зимнего неба, двигались фигуры. Люди в красноармейских шинелях, с винтовками за спиной. Они бежали по полю, падали, поднимались, и в их движениях не было ни страха, ни отчаяния — только тупое, механическое упорство.

И она стреляла.

Пальцы нажимали на спуск. Грохот выстрела, отдача, и в прицеле одна из фигур падала, раскинув руки. Ещё выстрел. Ещё. Она слышала, как кто-то рядом — невидимый, но отчётливо присутствующий — шепчет ей на ухо: «Хорошо. Ещё. Ты делаешь это правильно». Голос был низким, чужим, с каким-то странным, гортанным акцентом. И в этом голосе — ни злобы, ни ненависти. Только спокойное, деловитое удовлетворение.

Инна просыпалась всегда в один и тот же момент — когда прицел наводился на молодого парня с рыжими волосами, который бежал прямо на неё, и его лицо вдруг становилось до боли знакомым. Она не могла понять, кто он, но чувствовала, что это лицо — ключ к чему-то важному. И в этот миг она выкрикивала: «Нет!» — и просыпалась в холодном поту.

Ленинградская ночь стояла за окном. Часы показывали половину четвёртого. Инна сидела на койке, обхватив колени руками, и тяжело дышала. Сердце колотилось где-то в горле. Она провела ладонью по лицу — кожа была влажной.

— Опять, — прошептала она в пустоту. — Опять ты здесь.

Она не знала, кто такой «ты». Но каждую ночь ощущение чужого присутствия становилось всё более отчётливым. Сначала это были просто сны — смутные, расплывчатые. Потом они обрели детали: прицел, снег, фигуры. А теперь в них появился голос. Голос, который говорил ей, что делать.

Инна встала, подошла к маленькому столу у окна и зажгла настольную лампу. Свет упал на стопку книг по истории, на блокнот с выписками и на старую фотографию, которую она хранила с детства — ту самую, где её отец стоял у яблони. Она взяла фотографию в руки, всмотрелась в его лицо. Те же скулы, тот же разрез глаз, что она видела в зеркале каждое утро. Но в его глазах не было той пустоты, которую она чувствовала в своих снах. В его глазах была жизнь.

— Папа, — прошептала она. — Что ты сделал? Что ты оставил мне?

Фотография молчала. Но где-то глубоко внутри, в той части сознания, которую она не контролировала, шевельнулось что-то чужое. Как будто тот самый голос, что звучал во сне, притаился в темноте, ожидая, когда она снова закроет глаза.

Она положила фотографию на место, села за стол и взяла блокнот. На первой странице, её собственным почерком, было выведено одно слово: «Чугунов». Она нашла это имя в старых архивных документах, когда ещё работала в Москве. Оно всплыло случайно, в списке личного состава одной из расформированных частей. Тогда она не придала этому значения. Но теперь, после кошмаров, это имя звучало как колокол.

— Кто ты, Чугунов? — прошептала она, глядя на строчку. — И почему я вижу твоими глазами?

Она закрыла блокнот, потушила свет и легла обратно. Но спать не стала. Она лежала, глядя в потолок, и слушала, как за стеной кашляет сосед, как где-то вдалеке поёт паровоз, и как внутри неё, на границе сна и яви, продолжает звучать тот самый голос, который не давал ей покоя.

Она не знала, что в ту же самую ночь, в Челябинске-40, капитан Громов перебирал старые дела, натываясь на её фамилию в списках личного состава. И не знала, что полковник Кротов, сидя в своём кабинете на Лубянке, уже подписывал приказ о её переводе в Москву — «для углублённого изучения архивных материалов». Жатва приближалась, и каждый из них, сам того не подозревая, становился её частью.

Ленинградское утро встретило её мокрым снегом, который валил крупными хлопьями и тут же таял, превращая улицы в серую кашу. Инна проснулась с головной болью — следствие очередной бессонной ночи, проведённой в борьбе с чужими снами. Она накинула халат, вышла на кухню, чтобы вскипятить чайник, и остановилась как вкопанная.

На подоконнике, прямо у открытой форточки, лежал небольшой свёрток из грубой, промасленной бумаги.

Его там не было вчера. Она точно помнила: когда ложилась спать, подоконник был пуст. Никто не мог войти в квартиру — дверь заперта, замок надёжный. Но свёрток лежал, и от него исходил слабый, едва уловимый запах старого ружейного масла и металла.

Инна подошла ближе. Осторожно, словно боясь, что внутри может оказаться что-то живое, она взяла свёрток в руки. Бумага была шершавой, пропитанной машинным маслом, и на ощупь холодной, как лёд. Она развернула её.

Внутри лежала винтовочная пуля. Не стреляная, не деформированная — новая, с аккуратной гильзой и ровным, не тронутым нарезом кончиком. Такие пули использовали в снайперских винтовках Мосина — она знала это ещё по спецшколе. Рядом с пулей, сложенная вчетверо, лежала записка.

Инна развернула записку. Почерк был незнакомым — быстрый, нервный, с резкими нажимами, словно писавший торопился и боялся, что его застанут. Текст был коротким, но каждое слово врезалось в сознание, как гвоздь.

«Они воскресли не все. Ты — последняя кровь якоря. Жди гостей. Не доверяй никому. Особенно тем, кто носит новую форму».

Подписи не было.

Инна перечитала записку трижды, держа её дрожащими пальцами. Сердце забилося быстрее, где-то в затылке зашевелился тот самый холодок, который она чувствовала перед каждым кошмаром. Она посмотрела на пулю — она лежала на ладони, тяжёлая, холодная, и в её форме, в её идеальной симметрии чувствовалась какая-то зловещая завершённость. Кто-то оставил ей не просто предупреждение. Кто-то оставил ей напоминание о том, чем она была раньше. Или чем она станет.

Она сжала пулю в кулаке, подошла к телефонному аппарату, стоявшему в коридоре, и набрала номер Громова. Она нашла его в тех же старых списках, что и фамилию Чугунова, и записала в блокнот — на всякий случай. Теперь этот «всякий случай» наступил.

Гудок. Один. Второй. Третий. Дальше — глухой, долгий сигнал «занято». Она положила трубку и набрала снова. Тишина. Абонент не отвечал.

— Громов, — прошептала она, глядя на чёрную трубку, которая теперь казалась ей не средством связи, а символом оборванной нити. — Что с тобой? И почему я должна тебе доверять?

Она вернулась в комнату, положила пулю и записку в карман плаща. На столе лежал блокнот с адресом: «Челябинск-40, городской архив, капитан Громов В. А.». Два дня назад она звонила туда, и секретарь сказал, что капитан выбыл в Москву. Теперь, после этой записки, совпадение перестало быть совпадением. Если Громов не отвечает, значит, что-то случилось. А если она должна ждать гостей, значит, ей лучше не ждать, а действовать.

Она накинула плащ, взяла небольшой чемодан — тот самый, с которым приехала из Москвы, — и заперла дверь. Спускаясь по лестнице, она ещё раз перечитала записку. «Последняя кровь якоря». Что это значит? Она не знала. Но она чувствовала, что ответы ждут её там, за Уралом, в закрытом городе, где работал капитан Громов.

На вокзале она купила билет на ближайший поезд до Челябинска. Поезд отправлялся через час. Она села в жёсткий вагон, у окна, и смотрела, как за стеклом проплывают серые пригороды Ленинграда, сменяясь бесконечными полями и перелесками. В руке она сжимала пулю, и та казалась ей горячей, как живой уголёк.

Где-то за окном, в утренней мгле, осталась записка. И где-то там, впереди, её ждал не просто капитан Громов. Её ждала та самая жатва, о которой говорили её кошмары. И она была готова встретиться с ней лицом к лицу.

Поезд набирал ход, унося Инну Ветрову навстречу неизвестности. Но корни этой неизвестности уходили глубже, чем она могла представить, — в московскую весну пятьдесят второго, когда майор Тучков впервые переступил порог кабинета 404.

Москва, весна 1952 года. Время текло медленно, как густая смола, в которой застывали судьбы, приказы и секретные сводки. Владимир Тучков к тому времени уже прочно обосновался в системе — не как фронтовик, случайно затесавшийся в органы, а как майор Управления особых дел, занимавшегося анализом трофейных материалов. Работа была нудной, пыльной, но он знал: именно здесь, в этих бесконечных стеллажах с немецкими архивами, хранились ключи к тому, что он искал. И он искал терпеливо, год за годом.

Он уже не был тем восемнадцатилетним сержантом, который прятал дневник под шинель. Он научился ждать, научился молчать, научился просматривать тысячи бумаг в поисках одной-единственной строки. И за эти годы он нашёл больше, чем мог предположить. Фрагменты ритуалов, упоминания о «кереку», несколько схем подземных лабораторий — всё это по крупицам оседало в его памяти, формируя картину, которая не давала ему покоя.

Но главное — он знал, что не один. В системе существовали люди, которые знали больше, чем должны были. И одним из них был генерал-лейтенант Илья Борисович Шторм.

О Шторме ходили легенды. Говорили, что он прошёл через финскую, через Сталинград, через Берлин, и что на его столе никогда не лежали обычные дела — только те, на обложках которых стояли грифы, способные испугать даже искушённых архивистов. Он не имел прямого отношения к «Молоху», но все нити, ведущие к нему, сходились в кабинете Шторма.

В тот день Тучков сидел над очередной партией документов, когда в его кабинет вошёл курьер и положил на стол запечатанный конверт. Без обратного адреса, без подписи. Только короткая надпись от руки: «Явка в 18:00. Кабинет 404».

Тучков поднял бровь, но ничего не сказал. Он знал, что такие приглашения не бывают случайными. В 18:00 он был у нужной двери.

Кабинет 404 находился на четвёртом этаже старого корпуса, в той части здания, где стены были толще, а коридоры — уже. Тучков постучал, и дверь открылась почти мгновенно. На пороге стоял генерал Шторм — высокий, сухой, с седыми висками и воспалёнными, но цепкими глазами. Он жестом пригласил войти.

Кабинет был просторным, но холодным. Дубовый стол, заваленный бумагами, железный сейф в углу и единственная лампа под зелёным абажуром, которая выхватывала из полумрака лицо хозяина. Шторм сел за стол, не предложив Тучкову сесть. Некоторое время он молчал, изучая его, затем заговорил:

— Майор Тучков. Я знаю о вас больше, чем вы думаете. Ваше личное дело, ваши характеристики, ваши перемещения по службе. Вы работаете с трофейными документами уже пять лет. И за это время вы ни разу не попросили перевода, не подали рапорта о повышении, не проявили ни малейшего карьерного рвения. Почему?

Тучков выдержал его взгляд, чувствуя, как внутри закипает смесь тревоги и любопытства.

— Я люблю свою работу, товарищ генерал.

— Не лгите, — спокойно оборвал Шторм. — Вы не любите бумаги. Вы ищете что-то другое. И я знаю, что именно.

Он медленно встал, подошёл к сейфу и, не глядя на Тучкова, набрал код. Дверца с лёгким щелчком открылась. Шторм извлёк оттуда тонкую папку, вернулся к столу и положил её перед собой. Затем поднял глаза на Тучкова и произнёс с той же ровной интонацией:

— Вы нашли в Берлине дневник оберштурмфюрера Фридриха фон Штольца. Вы никому о нём не доложили, не сдали в трофейную комиссию, не упомянули в отчётах. Вы хранили его все эти годы. Так?

Тучкову показалось, что воздух в кабинете стал плотным, как в бункере. Он сглотнул, но голос не дрогнул:

— Так точно, товарищ генерал. Это был личный трофей, который, по моему мнению, не представлял официальной ценности.

Шторм усмехнулся — холодно, без тени юмора.

— Не представлял ценности? Майор, в этом дневнике описаны ритуалы, способные менять человеческую природу. Там есть символы, которые наши лучшие криптографы не могут расшифровать уже семь лет. И вы говорите, что он «не представлял ценности»?

Он помолчал, потом медленно откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Голос его стал тише, но от этого — только опаснее.

— Я не собираюсь вас наказывать, Тучков. Напротив. Я ищу людей, которые умеют видеть то, что скрыто от других. Вы — один из них. Вы нашли дневник, вы его сохранили, вы изучили. Это говорит о том, что вы посвящены в тайны, которые большинство моих офицеров даже не подозревают. И мне нужен такой человек.

Он открыл папку, которую положил на стол, и развернул её в сторону Тучкова. Внутри лежала фотография — старая, мутная, но на ней чётко просматривался знак: три линии, расходящиеся от круга, с точками. Тот самый, который Тучков видел в немецком дневнике.

— Вы знаете, что это, — сказал Шторм. — Я предлагаю вам работать на меня, майор. Не на управление, не на отдел — на меня. Я дам вам доступ к материалам, о которых вы даже не мечтали. Вы будете заниматься тем, что действительно важно. А взамен я попрошу только одного: полного доверия и абсолютной секретности.

Тучков посмотрел на фотографию, затем перевёл взгляд на генерала. В глазах Шторма не было ни хитрости, ни угрозы — только холодная, непоколебимая решимость человека, который давно уже перешагнул черту дозволенного.

— Я согласен, товарищ генерал, — ответил Тучков, и голос его прозвучал ровно.

Шторм кивнул, запер папку обратно в сейф и подошёл к окну, повернувшись спиной к Тучкову.

— Тогда начнём с главного, — сказал он, глядя на вечернюю Москву за стеклом. — Вы знаете, что такое «Красная Месса»?

— Красная Месса, — повторил Тучков, и в голосе его прозвучала не вопрос, а скорее утверждение. — Это название проекта, который начал Ярцев в сорок первом. Алтарь, руны, кереку. И Жнец, который так и не подчинился.

Шторм медленно повернулся от окна. В его глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение — редкое выражение для человека, который обычно не позволял себе эмоций.

— Вы хорошо подготовлены, майор. Это радует. — Он подошёл к столу и сел, жестом приглашая Тучкова занять место напротив. — Но вы знаете только верхушку. То, что лежит на поверхности. Ярцев был одержим идеей подчинить Жнеца силой. Он думал, что если принести достаточно жертв, если кричать достаточно громко, если заковать сущность в серебро и держать её в клетке, — она станет послушным инструментом. Он ошибался.

Шторм открыл ящик стола и извлёк из него толстую папку с выцветшей надписью: «Красная Месса. Том I. Заря». Он положил её перед Тучковым, но не открыл.

— Жнец — не собака, которую можно приучить, — продолжал генерал. — Он не подчиняется приказам. Он подчиняется только тому, кто способен его понять. Кто способен смотреть на мир его глазами. Кто способен добровольно открыть ему дверь, не пытаясь запереть её обратно. Ярцев хотел быть хозяином. Я хочу быть... проводником.

Тучков смотрел на папку, чувствуя, как под пальцами, положенными на колени, начинает пульсировать тот самый холодок, который он испытывал всякий раз, когда касался дневника фон Штольца.

— Но для этого нужен носитель, — тихо произнёс он. — И якорь.

— Именно, — кивнул Шторм. — Идеальный носитель — Пётр Чугунов — погиб вместе с алтарём. Его брат Михаил, последний якорь, уничтожил себя, пытаясь остановить жатву. Но осталась их кровь. Их наследство.

Он перелистнул несколько страниц в папке и показал Тучкову фотографию — ту самую, где Инна Ветрова, ещё совсем девочка, стояла в форме спецшколы, с серьёзным, настороженным взглядом.

— Это Инна Ветрова. Дочь Михаила Чугунова. В ней течёт та же самая кровь якоря, что и в её отце. Когда она будет готова — а она уже почти готова, — она сможет удерживать Жнеца в физическом мире. Но не так, как пытался Ярцев. Не через страх и насилие. А через добровольный резонанс. Через то, что она сама захочет стать частью этой силы.

Тучков перевёл взгляд с фотографии на генерала.

— И что вы хотите от меня, товарищ генерал?

Шторм откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. В его глазах блеснул холодный, расчётливый огонь.

— Вы — мои глаза и руки, Тучков. Я не могу появляться везде лично. За мной следят. За мной охотятся те, кто хочет уничтожить проект, — и те, кто хочет украсть его для себя. Мне нужен человек, который будет двигаться там, где я не могу, видеть то, что я не вижу, и, если потребуется, действовать так, как я не могу действовать официально.

— Вы хотите, чтобы я стал вашей тенью.

— Я хочу, чтобы вы стали моим продолжением. — Шторм подался вперёд и понизил голос до едва слышного шёпота. — Громов — в Челябинске-40. Он знает больше, чем пишет в своих рапортах. Он хранит архив «Молоха» и, возможно, уже разобрался в том, что мы ищем. Ветрова — в Ленинграде. Она ещё не знает, кто она такая, но её кровь уже начала просыпаться. Если она встретится с Громовым, они могут сложить пазл быстрее, чем мы ожидаем. Я хочу, чтобы вы держали их в поле зрения, но не вмешивались. Пока нет.

— А когда наступит «пока нет»?

Шторм улыбнулся — той самой холодной, ничего не выражающей улыбкой, которая не затрагивала глаз.

— Когда я пойму, что они готовы. Тогда я сам приду к ним. Но до этого момента вы будете моими глазами. Вы будете читать их рапорты, вы будете знать, куда они едут и с кем говорят. Вы будете докладывать мне всё, что покажется странным. А когда придёт время — вы приведёте их ко мне.

Тучков встал. Он чувствовал тяжесть этой ответственности — не как груз, а как вызов. Семь лет он нёс с собой тайну немецкого дневника. Семь лет он искал ответы. И вот теперь, перед ним сидел человек, который мог дать ему не просто ответы, а возможность закончить то, что начали Ярцев и фон Штольц.

— Я сделаю это, товарищ генерал, — сказал он, и в его голосе не было ни тени сомнения.

Шторм протянул ему руку. Тучков пожал её — короткое, сухое рукопожатие, скрепившее их негласный договор.

— Тогда начнём, майор, — произнёс Шторм, вставая. — Громов — ваша первая цель. Он сейчас в Челябинске. Узнайте, что он знает. И не дайте ему умереть раньше времени.

Тучков кивнул и вышел из кабинета, оставив генерала одного. За его спиной, за закрытой дверью, Шторм снова сел за стол и открыл папку с надписью «Красная Месса». Он долго смотрел на фотографию Инны Ветровой, затем перевёл взгляд на ту самую руну — три линии, круг, точки, — которая теперь связывала его с майором, с дневником и с той древней силой, что ждала своего часа в обломках чёрного алтаря.

— Скоро, — прошептал он. — Очень скоро.

Глава 3. Точка возврата

Москва встретила Громова тем же серым, промозглым апрелем, что и Ленинград, но здесь, в центре, воздух был гуще, пропитан выхлопными газами и той особой, неуловимой напряжённостью, что всегда витала над Лубянской. Он вышел из поезда рано утром, миновал несколько кордонов и, предъявив предписание, оказался в здании, которое знал ещё со времён службы у Ярцева. Но сейчас оно выглядело иначе — не столько мрачнее, сколько более... стерильным: словно отсюда вымели всё живое, оставив лишь бетон, сталь и холодный свет ламп.

Его провели на третий этаж, в кабинет с табличкой «Полковник Кротов В. С.». Дверь открылась без стука — словно его ждали, словно время его прибытия было рассчитано с точностью до секунды.

За столом сидел человек, которого Громов видел впервые в жизни. На вид лет тридцать пять — тридцать семь, с гладко выбритым, холёным лицом и тёмными, аккуратно зачёсанными волосами. Форма сидела на нём идеально, без единой складочки, а на столе, застеленном зелёным сукном, не было ни одной лишней бумаги — только чистый блокнот, ручка и серебряный портсигар. Кротов смотрел на Громова с той особенной, неестественной спокойностью, которая бывает у людей, привыкших контролировать каждое своё движение и каждое слово.

— Капитан Громов, — произнёс Кротов, не поднимаясь, но жестом указывая на стул напротив. — Прошу. Рад видеть вас в Москве. Долгая была дорога?

— Долгая, — коротко ответил Громов, садясь. Он не расслаблялся — он вообще никогда этого не делал в присутствии незнакомых начальников. — Вы полковник Кротов? Я не слышал о вас раньше.

— Это неудивительно, — Кротов чуть улыбнулся — одними уголками губ, без тени тепла. — Я работаю в структуре, которая не афиширует своих сотрудников. Скажем так, я занимаюсь тем, что осталось после расформирования некоторых... специальных проектов.

Он открыл портсигар и протянул Громову. Тот взял папиросу и не спеша закурил. Кротов сделал то же самое, и несколько секунд они курили в молчании, глядя друг на друга через стол. Громов изучал Кротова: его руки были ухоженными, без мозолей — явно не из тех, кто держал автомат или лопату. Но в его глазах, несмотря на внешнюю мягкость, чувствовалась та самая стальная, не поддающаяся никакой дрессировке цепкость, которая бывает только у людей, видевших настоящую тьму.

— Я вызвал вас не для того, чтобы обсуждать архивные дела, капитан, — наконец заговорил Кротов, стряхивая пепел в хрустальную пепельницу. — Я вызвал вас, потому что нам нужна ваша помощь. Точнее, ваше знание.

— Какое знание? — ровно спросил Громов.

— Знание о том, как работал Борис Савельевич Ярцев. — Кротов произнёс это имя без всякой интонации, как будто говорил о покойном сослуживце, а не о человеке, чьи эксперименты стоили жизни десяткам людей. — Вы работали с ним, вы были рядом в финальной фазе. И, как мы теперь понимаем, вы знаете о его методах больше, чем кто-либо из выживших.

— Я знаю о том, что видел, — осторожно ответил Громов.

— Этого достаточно. — Кротов откинулся на спинку стула и положил руки на стол, переплетя пальцы. — Дело в том, что недавно, при разборе личных вещей одной из московских квартир, мы обнаружили то, что не должно было существовать. Собственный архив Ярцева. Не тот официальный, что хранился в «Молохе», — там, как вы знаете, было много чистой макулатуры. А личный, который он вёл параллельно. Не в лаборатории, не в кабинете, а в квартире своей... скажем так, близкой знакомой, которая оставалась незамеченной даже для наших агентов.

Громов нахмурился. Он слышал от Зинаиды, что у Ярцева были женщины, но никогда не придавал этому значения.

— И что там было? — спросил он.

— Там было многое, — Кротов наклонился вперёд и понизил голос, хотя в кабинете не было никого, кроме них. — Там были дневники, которые Ярцев вёл не для отчётов — для себя. В них, в отличие от официальных протоколов, он описывал ритуалы не как научные эксперименты, а как... переживания. Он писал о том, что чувствовал, когда чёрный туман касался его. Он пытался записать слова, которые слышал от сущности. И там, — Кротов сделал паузу, — там есть детали, о которых мы не знали.

Он открыл ящик стола и извлёк из него тонкую папку, перетянутую чёрной тесьмой. Положил её перед Громовым.

— В частности, — продолжил Кротов, — Ярцев утверждает, что Жнеца можно не только приручить, но и... призвать. Для этого нужен не просто якорь и не просто кровь. Нужна добровольная жертва того, кто уже был носителем. А единственный носитель, который выжил до конца ритуала, — это Пётр Чугунов. Но он мёртв. Или почти мёртв.

Громов взял папку, но не открыл. Он смотрел на Кротова, пытаясь понять, куда тот клонит.

— Вы хотите сказать, что есть способ воскресить его? — тихо спросил он.

Кротов улыбнулся — и на этот раз в его улыбке мелькнуло что-то настоящее, почти хищное.

— Я хочу сказать, капитан, что ваш старый друг Ярцев был не таким дураком, каким мы его считали. Он оставил нам инструкцию. И теперь, когда мы знаем, где лежит тело Петра Чугунова, мы можем попытаться сделать то, что не удалось ему. Мы можем завершить начатое.

Громов молчал, чувствуя, как под его пальцами, лежащими на папке, начинает пульсировать тот самый холодный, древний ритм, который он помнил по алтарю. Он не знал, враг перед ним или союзник. Но он знал точно: Кротов не тот, кем кажется. И за его холёным лицом скрывается такой же голод, как и у Ярцева, — только лучше скрытый под маской вежливости.

— Я изучу её, — сказал Громов, кивая на папку. — Но это займёт время. Вы дадите мне доступ к остальному архиву?

— Да, — ответил Кротов, вставая. — Вам выделяют отдельную комнату в этом же здании. Я хочу, чтобы вы прочитали всё. А когда прочтёте — мы поговорим о следующем шаге.

Громов поднялся, взял папку и направился к двери. У порога он остановился и, не оборачиваясь, спросил:

— Полковник, вы верите, что Жнеца можно контролировать?

В кабинете повисла тишина. Затем Кротов ответил — ровно, без колебаний:

— Я верю, что если кто-то сможет его контролировать, то только тот, кто сам станет частью жатвы. И, капитан, мне кажется, вы к этому ближе, чем думаете.

Громов вышел, и дверь за ним захлопнулась с мягким, почти беззвучным щелчком. В коридоре он остановился, прислонившись к холодной стене, и сжал папку в руках так, что побелели костяшки. Ему казалось, что он держит не бумагу, а осколок того самого алтаря, который когда-то разбил Михаил Чугунов. И в этом осколке всё ещё теплилась жизнь. Или смерть. Грань между ними стиралась.

Два часа спустя Громов вновь сидел напротив Кротова, сжимая под мышкой ту же папку, но теперь прочитанную от корки до корки. Кожа на пальцах горела — чернила на некоторых страницах были ещё свежими, словно их писали вчера, а не четыре года назад. Он положил папку на край стола.

— Я прочитал всё, что можно было прочитать за это время, — сказал он, и голос его звучал глухо, как из пустой бочки. — Ярцев писал не как учёный. Он писал как одержимый.

Он описывал не ритуалы — он описывал ощущения. Вкус крови на языке. Холод, который шёл от алтаря. И он несколько раз упоминал «Второй круг». Что это?

Кротов отложил ручку, которую держал в руках, и пристально посмотрел на Громова. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глубине глаз мелькнула тень удовлетворения — словно он ждал именно этого вопроса.

— «Второй круг Жатвы», — медленно произнёс он, как будто пробуя слова на вкус. — Ярцев верил, что Жнец не просто запечатан в обломках алтаря. Он считал, что сущность обладает своего рода... часовым механизмом. Что она была запрограммирована древними жрецами на определённые циклы активации, независимые от воли человека. Первый круг, по его теории, завершился вместе со смертью Михаила Чугунова. А второй должен был начаться автоматически, как только умрёт «Великий Отец».

— Великий Отец? — переспросил Громов, и на его лбу залегла глубокая складка.

— Сталин, — без выражения ответил Кротов. — Ярцев считал, что Жнец был настроен на смерть правителя, обладающего абсолютной властью. Как только Сталин ушёл — механизм пришёл в движение. Ритуалы, которые мы проводили в «Молохе», были лишь подготовкой. А настоящая жатва начинается сейчас.

Громов почувствовал, как в груди снова зашевелился тот самый холодный комок, который он носил в себе с первого дня знакомства с алтарём. Он медленно перелистнул несколько страниц в папке, показывая Кротову один из рисунков Ярцева — схематичное изображение какого-то сооружения с кругами и пунктирными линиями, уходящими в бесконечность.

— И где должен состояться этот «Второй круг»? — спросил он.

— Не где, а когда, — поправил Кротов. — Но если говорить о месте... Ярцев заверил, что первая точка активации находится там, где он проводил свои первые полевые эксперименты. Это не «Молох», не Химки, не Свердловск. Это деревня Глухая.

Громов резко поднял голову. Он помнил это название. Он сам присутствовал там, когда в сорок четвёртом году Ярцев сбрасывал цинковый гроб с останками братьев Чугуновых в карстовую воронку. Тот колодец. Та мёртвая, стёртая с карт деревня.

— Там же нет ничего, кроме воронки и старых руин, — сказал он, и в голосе его прорезалась сталь. — Ярцев не проводил там экспериментов. Он только хоронил тела.

— Он хоронил тела, — медленно повторил Кротов, — но он также заложил там первый камень второго круга. В своих записях он называет это «точкой возврата». Если Жнец действительно начинает пробуждаться, он должен вернуться туда, где его запечатали, — к тому месту, где были последние капли крови якоря. Глухая — это эпицентр.

Кротов поднялся, подошёл к карте, висевшей на стене, и ткнул пальцем в точку за Уралом, где на официальных картах не было ничего, кроме штриховки пустынных земель.

— Именно поэтому вы, капитан, должны выехать туда. Немедленно. — Он повернулся и посмотрел на Громова в упор. — В ваших руках — единственная нить, ведущая к тому, что Ярцев называл «управляемым пробуждением». Я даю вам группу из трёх надёжных человек и полную свободу действий. Ваша задача — добраться до Глухой, обследовать воронку и установить, активировался ли механизм. Если да — вы должны зафиксировать все признаки, прежде чем Жнец наберёт силу.

Громов стоял неподвижно, глядя на точку на карте. Он знал, что это не просто служебная командировка. Это ловушка — или последний шанс узнать правду. Но что бы ни ждало его там, в Глухой, он не мог отказаться. Потому что Кротов был прав: он действительно был единственным, кто видел этот ритуал с самого начала, до самого конца.

— Я выеду сегодня же, — сказал он, забирая папку со стола. — Но у меня есть условие. Кротов приподнял бровь.

— Какое?

— Я хочу знать, где сейчас находится Инна Ветрова. Если Второй круг действительно активировался, её кровь — следующий шаг. Я должен знать, в безопасности ли она.

Кротов на мгновение задержал взгляд на Громе, затем коротко кивнул.

— Она в Ленинграде. Но недавно она купила билет до Челябинска. Похоже, она уже едет к вам, капитан. Так что у вас есть шанс встретиться с ней раньше, чем это сделает кто-то другой.

Громов вышел из кабинета, и дверь за ним мягко захлопнулась. Он спускался по лестнице, сжимая папку под мышкой, и в ушах его звучали слова Кротова: «Точка возврата». Он знал, что возврата не будет. Вперёд — только вперёд, в Глухую, в воронку, к той самой тьме, которую он так долго пытался оставить в прошлом. Но теперь прошлое дышало ему в затылок, и оно было голодным.

Пока Громов готовился к экспедиции, в Москве, невидимый для чужих глаз, продолжал свою охоту майор Тучков. Два с половиной года он ускользал от преследователей, и вот, в ноябре 1955-го, настал час решающей вылазки.

Москва, ноябрь 1955 года.

В тот день Тучков не был ни майором, ни офицером, ни даже гражданином с документами. Он был техником — в засаленной спецовке, с ящиком инструментов в руках и накладной на ремонт электропроводки в здании № 2 на Лубянке. Накладная была липовой, выписанной через подставное лицо из хозяйственного управления, но она выдержала проверку на первом кордоне — часовой мельком глянул на бумагу, кивнул и махнул рукой.

Тучков шёл по длинному, гулкому коридору, держась уверенно, как человек, который здесь бывает каждый день. Он знал планировку — он учил её по старым схемам, которые оставил ему Штурм. Архив особого хранения находился в подвале, за тремя дверями с кодовыми замками. Две из них он открыл без труда — коды он выучил наизусть, — а третья, с чугунной ручкой, была заперта на механический ключ.

Тучков присел, делая вид, что проверяет проводку под плинтусом. На самом деле он огляделся, убедился, что в коридоре никого нет, и достал из ящика с инструментами длинную, тонкую отмычку, которую носил с собой последние полгода. Замок поддался с тихим щелчком.

За дверью было холодно. Воздух пах пылью, старым картоном и ещё чем-то — сладковатым, почти химическим. Тучков зажёл маленький фонарик, который висел у него на поясе, и прошёл вдоль стеллажей, перебирая глазами корешки папок. Он искал один номер — 447-К, дело, которое Штурм упоминал в своём дневнике перед самой смертью. «Полуянов. Экспедиция 1948. Золото».

Он нашёл папку на третьей полке. Она была старой, с обтрепавшимися краями, и на её обложке значилось: «Архивная справка по экспедиции И. А. Полуянова в Монгольскую Народную Республику, 1948 г.». Тучков снял её, положил на ближайший стол, накрытый слоем вековой пыли, и начал листать.

Почерк был убористым, канцелярским, но сквозь сухие строки пробивалось что-то иное — нервное, почти лихорадочное. Полуянов, археолог из Академии наук, был направлен в Монголию по линии КГБ для «сбора сведений о культовых сооружениях древних кочевников». Официально — для изучения погребальных курганов. Неофициально — для поиска того, что он сам называл «золотыми вратами».

Тучков перелистнул несколько страниц и наткнулся на машинописный отчёт, приклеенный к внутренней стороне обложки. Дата: 12 сентября 1948 года. Текст гласил:

«В урочище Хара-Хото, в сорока километрах от сомона Хангай, вскрыт курган, не имеющий аналогов в известных мне археологических комплексах. В центральной камере, под слоем базальта и войлока, обнаружено сооружение из массивного золота. Форма — неправильный овал, высотой около метра. На поверхности вырезаны символы. Предварительный анализ показывает, что они принадлежат к более древнему языку, нежели протославянские руны. По

оценке, возраст — не менее 5 тысяч лет. Символы описывают цикл. „Открытие врат“, „пожигатель“, „кровь и звёзды“. Требуется дальнейшее изучение».

Тучков остановился и перечитал последние строки несколько раз. «Кровь и звёзды». Он вспомнил дневник фон Штольца, где был похожий оборот — «Blut und Sterne». Значит, немцы тоже искали не только на Восточной Европе, они дотягивались до Монголии. И Полуянов, советский археолог, нашёл нечто раньше всех.

Он перевернул ещё несколько листов. Дальше шли фотографии — мутные, но достаточно чёткие, чтобы разглядеть контуры золотого алтаря. Алтарь был не плоским, как тот, что Ярцев нашёл под Смоленском, а объёмным — похожим на жертвенник. По его бокам извивались линии, в которых угадывались те же три изогнутые линии, расходящиеся от круга, с точками, — но теперь они были вписаны в более сложную композицию, с дополнительными символами, похожими на астрономические карты.

Внизу страницы стояла приписка, сделанная от руки — явно Полуяновым: «Ритуал требует не просто крови — требуется воля. Золотой алтарь не отвечает на страх. Он отвечает на знание. Тот, кто прочтёт символы до конца, откроет врата, которые не закрывались уже пять тысячелетий».

Тучков медленно закрыл папку, но не убрал её. Рядом на стеллаже он заметил ещё одну — тоньше, с грифом «Личное дело Полуянова И. А.». Он взял её и быстро пролистал, задержавшись на ключевых записях. Полуянов вернулся в Москву в конце 1948 года, получил внеочередное звание подполковника — не за археологию, а «за выполнение специального задания». В 1950-м — полковник. В 1952-м — генерал-майор, перевод в Главное управление по особым делам. При этом в его характеристиках не было ни слова об оккультизме, ни о древних рунах, ни о золотых алтарях.

Тучков чуял ложь.

Он перелистнул ещё несколько страниц и нашёл короткое служебное письмо, датированное 1953 годом, адресованное лично Полуянову от некоего начальника отдела кадров. В письме было всего несколько строк: «Прошу уточнить, имеются ли у Вас сведения о месте хранения чёрного базальтового артефакта, изъятого из кургана № 17 под Смоленском в 1941 году. Согласно Вашему запросу, этот объект не был зарегистрирован в официальных реестрах».

Тучков замер. Чёрный базальтовый артефакт. Курган № 17. Это был алтарь Ярцева. И Полуянов, оказывается, запрашивал о нём справку ещё в 1953 году — то есть через девять лет после того, как алтарь был официально уничтожен.

— Он знал, — прошептал Тучков, ни к кому не обращаясь. — Он знал о Жнеце ещё до того, как Ярцев начал свои эксперименты. Он искал его задолго до всех.

Он быстро положил обе папки — с экспедицией и с личным делом — на стол, достал из кармана компактный фотоаппарат, который носил с собой в ящике с инструментами, и начал переснимать страницы. Сначала — все фотографии золотого алтаря. Потом — записи Полуянова о погибших членах экспедиции. Потом — служебное письмо про чёрный алтарь. Каждый кадр ложился в плёнку с той же методичностью, с какой Тучков когда-то в Берлине перелистывал дневник фон Штольца.

Через сорок минут он закончил. Плёнка была спрятана в двойное дно ящика, а сами папки — возвращены на стеллаж, точно в то же место, откуда он их взял. Тучков поднял ящик, поправил спецовку и вышел в коридор. В его голове уже складывалась новая картина. Полуянов — не просто археолог. Он — человек, который пережил нечто, что уничтожило пятнадцать его товарищей. И он, судя по всему, решил не бороться с той силой, а использовать её.

— Ты не умер, Полуянов, — произнёс Тучков, уже стоя на улице, вдыхая холодный московский воздух. — Ты просто ждёшь. И твой золотой алтарь ждёт вместе с тобой.

Он сел в такси, назвал адрес своей конспиративной квартиры и откинулся на спинку сиденья. В руках у него была плёнка — ключ к тому, что могло перевернуть всё, что он знал о

Жнеце. И он был готов начать игру, в которой ставкой была не просто истина, а сама способность отличать реальность от древнего, бесконечно терпеливого сна.

Глава 4. Попутчики под прицелом

Московский вокзал гудел, как потревоженный улей. Паровозы выпускали клубы пара, и те смешивались с серым ноябрьским небом, а по перрону сновали пассажиры с мешками, чемоданами и узлами, перевязанными бечёвкой. Громов стоял у края платформы, сжимая в руке билет до Челябинска, и ждал, когда объявят посадку на его поезд. Он уже прошёл через турникет, предъявил предписание Кротова, и теперь просто стоял, курил и смотрел на рельсы.

В толпе он заметил её сразу — не потому, что искал, а потому, что она двигалась иначе, чем все остальные. Быстро, собранно, без лишней суеты. Она шла с небольшим чемоданом и, судя по всему, искала свой вагон. На ней было простое пальто, из-под которого выглядывал воротник формы, и когда она проходила мимо, Громов узнал её лицо — то самое, что он видел на фотографиях в досье.

— Инна? — окликнул он, и в его голосе прозвучала почти неуверенность.

Она остановилась и повернулась. Серые глаза, которые он помнил по старой карточке, на мгновение сузились, а затем в них мелькнуло что-то похожее на узнавание.

— Капитан Громов? — спросила она, и в её голосе слышалось скорее утверждение, чем вопрос. — Я думала, вы уже в Челябинске.

— Я только что получил предписание, — ответил он, сунув окурок в урну. — Еду туда же. А вы?

— Я тоже. — Она подошла ближе и понизила голос, словно боялась, что их подслушивают. — У меня есть что вам показать.

Она открыла небольшой саквояж, висевший на плече, и извлекла оттуда свёрток из промасленной бумаги. Громов взял его, развернул. Внутри лежала винтовочная пуля и сложенная записка.

Он прочитал записку, не меняясь в лице, затем поднял глаза на Инну.

— Откуда это у вас?

— Кто-то оставил на подоконнике моей квартиры в Ленинграде, — сказала она, и в её голосе проскользнула лёгкая дрожь, которую она тут же подавила. — Вместе с пулей. И я не знаю, кому доверять. Поэтому я решила ехать к вам.

Громов сжал записку в кулаке, затем полез в карман шинели и достал сложенную вдвое бумагу — предписание, подписанное полковником Кротовым. Он протянул ей.

— А это получил я. — Он дождался, пока она прочтёт текст, и добавил: — Похоже, кто-то очень хочет, чтобы мы оказались в одном месте в одно время.

Инна вернула ему бумагу и несколько секунд молчала. Затем тихо спросила:

— Вы знаете, что такое «Красная Месса»?

— Знаю, — ответил Громов. — И, боюсь, теперь вы тоже узнаете. Хотите вы этого или нет.

Поезд подошёл к перрону, вагоны медленно остановились. Громов взял свой чемодан и шагнул к открывшейся двери.

— У меня место в третьем вагоне, — бросил он через плечо. — Если хотите поговорить — приходите, как только устроитесь.

Он вошёл в вагон, оставив Инну стоять на перроне. Она проводила его взглядом, затем посмотрела на пулю, которую всё ещё сжимала в ладони. Кто-то оставил ей этот знак, чтобы она нашла Громова. И теперь она шла к нему, чтобы понять — почему.

Она зашла в свой вагон, и поезд, лязгнув металлом, тронулся в путь — на восток, за Урал, туда, где ждала их Глухая.

Поезд набрал ход, и вагон мягко качнуло. Громов едва успел расположиться в своём купе, когда в дверь постучали. Он не удивился — он ждал этого стука. Дверь приоткрылась, и на

пороге возникла Инна, с тем же небольшим чемоданом и всё тем же серьёзным, настороженным выражением лица.

— Вы не против? — спросила она, хотя по её тону было ясно, что она не собирается уходить, даже если он скажет «против».

Громов отодвинулся на полку, освобождая место, и кивнул. Она села напротив, положила чемодан на колени, но не открыла его. Несколько секунд они молчали, слушая мерный стук колёс о рельсы и далёкий, тоскливый гудок паровоза.

— Я всё обдумала, — начала Инна, глядя куда-то в сторону, за окно, где проплывали унылые ноябрьские поля. — Я еду с вами до конца. До Челябинска, до Глухой, куда бы вы ни направлялись.

Громов нахмурился. Он хотел возразить, но она перебила его, подняв руку.

— Я знаю, что вы скажете. Что я — дочь якоря, что во мне течёт кровь, которую хотят использовать. Что я — идеальный сосуд для того, кто захочет разбудить Жнеца. — Она наконец перевела взгляд на него, и в её серых глазах зажёгся холодный, спокойный огонь. — Но посмотрите на меня, капитан. Я уже сосуд. Я вижу сны, которые не мои. Я слышу голоса, которых нет. Меня уже используют, даже не спрашивая моего согласия. Я предпочту быть сосудом по собственной воле, чем жертвой, которую выберут вслепую.

Громов откинулся на спинку и тяжело вздохнул. Он видел эту решимость — она напоминала ему другую, ту, которую он наблюдал в глазах Михаила Чугунова, когда тот шёл на алтарь, чтобы спасти брата. Это была та же кровь, та же упрямая, негнущаяся воля.

— Вы понимаете, — медленно произнёс он, — что если мы доберёмся до Глухой, вы можете оказаться в центре того, что Ярцев называл «Вторым кругом». Это не просто артефакт. Это механизм, который может начать работать от вашего присутствия. У меня нет гарантий, что я смогу вас защитить.

— У меня тоже нет гарантий, что я выживу, если останусь одна в Ленинграде с пулей в кармане и непонятными снами, — ответила она. — Так что давайте не будем тратить время на пустые споры. Я еду с вами.

Она замолчала, и в купе воцарилась тишина, нарушаемая только мерным ритмом колёс. Громов смотрел на неё, пытаясь найти в её лице хоть что-то, что выдавало бы страх или колебание, но не находил. Она была готова. И это пугало его больше, чем любой приказ Кротова.

Он уже собирался что-то сказать, когда краем глаза уловил движение в коридоре — тусклый свет лампы, скользнувший по стеклу двери, и чью-то тень. Он резко повернул голову.

Мимо купе, неспешной, размеренной походкой, прошёл мужчина в сером пальто. Лицо его было почти полностью скрыто под шляпой, опущенной на самые глаза, но Громов успел заметить, как он на секунду остановился, словно проверяя номер купе, и тут же двинулся дальше, к следующему вагону.

Инна проследила за его взглядом и нахмурилась.

— Кто это? — тихо спросила она.

— Не знаю, — ответил Громов, уже не глядя на неё. Он сосредоточился на том, что увидел: человек был не в форме, не в железнодорожной униформе. Он был в штатском, но двигался с той уверенностью, которая бывает только у людей, привыкших выполнять задания в чужих коридорах. — Но он идёт за нами, и он, скорее всего, не один. В таких поездах, как наш, одиночек не бывает.

— Может быть, это человек Кротова? — предположила Инна. — Он же дал вам предписание.

— Может быть, — Громов пожал плечами. — А может быть, это тот, кто оставил вам записку. Или кто-то третий, о ком мы пока не знаем. Но в одном я уверен: мы не одни.

Он встал, подошёл к двери купе и приоткрыл её, выглянув в коридор. Человек в сером пальто уже исчез в конце вагона, но Громов заметил, как в следующем проходе мелькнула ещё одна фигура — такого же роста, в похожей одежде.

Он закрыл дверь и повернулся к Инне.

— Хорошо, что вы решили ехать со мной, — сказал он, и на его губах мелькнула едва заметная усмешка. — Потому что, судя по всему, у нас теперь не просто попутчики, а целая команда наблюдателей. И если они хотят нас проследить до самого конца, то мы должны быть готовы к тому, что этот конец будет далеко не в Челябинске.

Инна взяла свою пулю, лежавшую на столике, сжала её в кулаке и посмотрела в окно, где уже сгустились сумерки. Где-то впереди, за сотнями километров, их ждала Глухая, заброшенная воронка, и ответы, которые могли стоить им жизни.

— Тогда пусть следят, — тихо ответила она. — Мы не остановимся. Ни за ними, ни за кем-то ещё.

Поезд мчался сквозь ночь, унося их на восток. А в Москве, на другом конце города, майор Тучков входил в дом престарелых «Отрадное», чтобы вырвать у прошлого ещё одну тайну.

Дом престарелых «Отрадное» стоял на окраине Москвы, зажатый между бетонным забором и заброшенным пустырьём. Трёхэтажное здание из жёлтого кирпича, с облупившейся штукатуркой и редкими, подслеповатыми окнами, казалось, само дышало забытём. Внутри пахло лекарствами, кипячёным бельём и старческой тоской — тем самым запахом, который не выветривается, сколько бы ни проветривали.

Тучков предъявил поддельное удостоверение сотрудника районного собеса, и дежурная медсестра, усталая женщина с седыми прядями, выбивавшимися из-под косынки, провела его на второй этаж, в палату номер двенадцать.

— Галина Аркадьевна, к вам гости, — сказала она, приоткрывая дверь.

В палате было тесно и сумрачно. У окна, на скрипучем стуле, сидела маленькая, сторбленная старушка с лицом, изрезанным глубокими морщинами, как старая географическая карта. Она смотрела в окно, на серое ноябрьское небо, и не сразу повернулась на звук шагов. Только когда Тучков подошёл ближе и сел на табурет напротив, она медленно перевела на него взгляд.

Глаза у неё были мутные, но в них ещё теплилась какая-то искра — не то память, не то просто остаток жизни.

— Здравствуйте, Галина Аркадьевна, — сказал Тучков, стараясь говорить мягко, но чётко. — Меня зовут Владимир. Я внук одного из участников вашей монгольской экспедиции. Мой дед — Иван Семёнович Ковалёв.

Старушка моргнула. Её губы дрогнули, как будто она пыталась вспомнить, но имя ничего ей не сказало.

— Иван Семёнович... — повторила она, словно пробуя слово на вкус. — Ковалёв... нет, не помню такого. Там было много людей. Молодые, весёлые... а потом...

Она замолчала, и взгляд её снова уплыл в окно, в серую мглу.

— Вы помните ту экспедицию? — осторожно спросил Тучков. — Урочище Хара-Хото. Золотой алтарь.

Старушка вздрогнула. Её пальцы, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.

— Алтарь... — прошептала она, и голос её стал хриплым, почти отсутствующим. — Да, алтарь. Они не должны были его трогать. Я говорила им: не трогайте. Он не для нас. Он ждёт тех, кто умеет читать.

Она повернулась к Тучкову, и в её глазах на мгновение вспыхнула та самая искра — страх, смешанный с чем-то ещё. То ли знание, то ли проклятие.

— Вы умеете читать те знаки? — вдруг спросила она, и голос её стал неожиданно твёрдым.

— Нет, — честно ответил Тучков. — Но я пытаюсь понять. Мой дед говорил, что вы видели больше всех. Что вы были вместе с Полуяновым в той камере.

При упоминании Полуянова старушка сжалась, как от удара. Её лицо побледнело, и она схватилась за край стула, словно боялась, что упадёт.

— Полуянов... — выдохнула она. — Он был не такой, как мы. Он хотел не просто смотреть — он хотел взять. Он говорил, что это наша обязанность. Что мы должны принести его в Москву. Но я слышала, как он шептался по ночам. С кем-то... с кем-то, кого не было в лагере.

— С кем? — Тучков наклонился вперёд, стараясь не спугнуть её.

— Не знаю, — покачала она головой, и глаза её снова помутнели, как будто туман, наконец, накрыл её сознание. — Я слышала голоса. Не русские, не монгольские. Какие-то странные, с шипением. И он записывал. Он много записывал в ту тетрадь. А потом... потом все, кто был на раскопе, начали болеть. Сначала один, потом другой. У них были одинаковые сны. Сны про золотой свет и про то, что они должны вернуться. Но никто не вернулся. Кроме него.

— Кроме Полуянова.

— Да, — прошептала она. — Он вернулся один. И с тех пор я не хочу больше слышать это имя.

Она заплакала — тихо, почти беззвучно, и слёзы покатались по её изрезанным щекам. Тучков выдержал паузу, затем спросил:

— Галина Аркадьевна, у вас остались какие-то записи тех дней? Или вы помните, что ещё он говорил? Хотя что-то.

Старушка долго молчала. Потом она полезла под кофту и достала небольшой, потёртый кожаный кошель, перетянутый резинкой. Она открыла его и вынула оттуда сложенный вчетверо листок, пожелтевший до почти прозрачности.

— Это последнее, что я видела, — сказала она, протягивая листок Тучкову. — Он оставил это у меня в палатке. Я думала, это его записи, но потом, когда он уже уехал, я прочитала. Там не его почерк. Там чужой.

Тучков взял листок, осторожно развернул его и поднёс к тусклому свету лампы. На нём, выведенные неровными, но уверенными линиями, были начерчены те самые три изогнутые линии, расходящиеся от круга, с точками. Но вокруг них, более мелким и странным шрифтом, шёл текст на неизвестном языке — не русский, не монгольский, не немецкий.

Он сфотографировал листок карманным аппаратом, затем аккуратно сложил его и вернул старушке.

— Спасибо, — сказал он. — Это очень важно.

— Важно, — повторила она, глядя куда-то в пустоту. — Всё важно. Но кто знает, кому это нужно. Может быть, только тем, кто уже мёртв.

Тучков поблагодарил её, но медлил уходить. Он чувствовал, что старушка ещё не всё сказала. Что-то в её взгляде — тот самый проблеск ясности, который вспыхивал и гас, как искра в сырых дровах, — подсказывало ему: она держит в памяти нечто большее, чем просто обрывок бумаги.

— Галина Аркадьевна, — заговорил он вновь, подавшись вперёд. — Вы упомянули, что Полуянов хотел не просто смотреть, а взять. Что вы видели в той пещере, кроме алтаря?

Старушка вздрогнула, как от прикосновения к больному зубу. Она сжала край кофты и долго молчала, глядя в одну точку на стене. Тучков уже решил, что она ушла в своё забытье, но вдруг она заговорила — тихо, почти шёпотом, но слова её были чёткими и ясными, как у человека, который на мгновение вырвался из тумана.

— Там был идол. Не алтарь, а фигура. Золотая, но не как статуя, а как... живая. Мы его нашли в самой глубине, когда разобрали завал из камней. Он стоял на постаменте, и у него было три лица. Одно смотрело вперёд, два — по сторонам. И все три улыбались. — Она перевела дух, и голос её стал ещё тише. — Полуянов тогда сказал нам: «Никому ни слова. Мы

вернёмся за ним позже». Но я видела, как он смотрел на идола. Он не просто изучал его — он... разговаривал с ним. Шептал что-то. И в тот же вечер, когда мы разбили лагерь, началось.

— Что началось? — спросил Тучков, стараясь не перебивать её темп.

— Безумие, — ответила она, и в её глазах мелькнул страх, настоящий, не затуманенный старостью. — Сначала один из наших, молодой картограф, проснулся ночью и начал кричать. Он говорил, что видит «золотые глаза» в темноте. Мы думали, это бред, усталость. Но наутро он набросился на товарища с ножом. Перерезал ему горло. А когда его схватили, он смеялся и говорил: «Он хотел взять мою долю. Мою долю золота».

Тучков нахмурился.

— А остальные?

— Остальные начали видеть то же самое, — прошептала Галина. — Они сходили с ума один за другим. Каждый думал, что кто-то из нас хочет его убить. Начались драки, поножовщина. За три дня из пятнадцати человек в живых остались только я и Полуянов. Я спряталась в расщелине, забила в угол и зажмурилась. Я боялась даже открыть глаза, потому что знала: если я увижу его глаза — я тоже сойду с ума.

— Чьи глаза? — спросил Тучков, хотя уже догадывался.

— Полуянова, — сказала она, и голос её задрожал. — Когда наступила ночь и все затихли, я слышала шаги. Он ходил между телами, перешагивал через них. Я приоткрыла один глаз, всего на секунду, и увидела его. Он стоял спиной ко мне, но я видела его отражение в золотом идоле. И его глаза... они не были человеческими. Они светились. Жёлтым, тёплым светом, как у того идола. И он улыбался той же улыбкой — тремя лицами, тремя улыбками, которые смотрели в разные стороны, но видели одно и то же.

Тучков почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он слышал от Шторма про «одержимых», про тех, в кого вселялись сущности, но никогда не думал, что Полуянов мог быть одним из них. А теперь, слушая Галину, он понял: генерал не просто курировал проект. Он сам был носителем. И он нёс в себе нечто, что проснулось в монгольской пещере задолго до того, как Ярцев начал свои эксперименты.

— Вы знаете, куда он дел идола? — спросил Тучков, стараясь сохранить спокойный тон.

— Не знаю, — покачала головой Галина. — Когда я выбралась из расщелины наутро, его уже не было. Ни идола, ни его вещей. Только тела. И следы от сапог, уходящие в степь. Я шла по ним два дня, пока не вышла к кочевникам. Они меня спасли. А Полуянов... он вернулся в Москву один. И я больше никогда не видела его глаз.

Она замолчала, и проблеск ясности снова погас, уступая место привычной старческой рассеянности. Она уставилась в окно, и её пальцы перестали дрожать, застыв, как старые ветки.

Тучков встал, тихо поблагодарил её и вышел из палаты. За его спиной, в палате номер двенадцать, старушка снова смотрела в окно. И ветер, завывающий за стеклом, нёс ей далёкий, смутный голос — тот самый, что она слышала сорок лет назад, в монгольской степи, когда золотой алтарь открыл свои глаза.

Глава 5. Голос из колодца

Поезд остановился на маленькой, полузабытой станции — её название не значилось даже в расписании. Перрон был пуст, только редкие фонари тускло освещали закопчённый навес, под которым стоял армейский ГАЗ-69 с зелёными бортами. Водитель, молодой сержант с бесцветным лицом и такими же бесцветными глазами, молча кивнул Громову, сверился с бумагой и открыл заднюю дверцу.

— Приказано доставить до Глухой, товарищ капитан, — сказал он без лишних слов. — Дорога дальняя, грунтовка разбита. Держитесь крепче.

Громов помог Инне забраться в кузов, затем сел сам, захлопнув дверцу. Машина тронулась, и они выехали за пределы станционного посёлка, нырнув в ночную, безлюдную степь.

Дорога действительно оказалась разбитой. Грунтовка петляла между перелесками и оврагами, и ГАЗ-69 то проваливался в рытвины, то выскакивал на ухабы, заставляя их хвататься за поручни. Инна молчала, глядя в окно на проплывающие силуэты деревьев, но Громов чувствовал её напряжение — она сжимала в кулаке ту самую пулю, которую носила с собой как талисман.

— Откуда здесь дорога, если деревня выселена? — спросила Инна, нарушив молчание.

— Раньше здесь был совхоз, — ответил Громов, не сводя глаз с дороги. — Потом, после войны, землю отдали под военные нужды. Деревню расселили, чтобы построить полигон. Но полигон так и не построили. Осталась только Глухая.

Машина перевалила через очередной овраг, и впереди, на фоне серого, низкого неба, показались первые силуэты. Сначала это были просто тёмные пятна на горизонте, но по мере приближения они обретали очертания.

Деревня Глухая встретила их мёртвой тишиной.

Избы стояли обгоревшие, с провалившимися крышами и чёрными, пустыми глазницами окон. Кое-где ещё торчали остовы печных труб, но большинство домов превратились в груды обугленного дерева, засыпанные снегом и грязью. Ветер, гуляющий между руинами, поднимал золу и нёс её вдоль единственной улицы, которая когда-то была главной.

ГАЗ-69 остановился у въезда в деревню. Сержант заглушил двигатель, и в наступившей тишине стало слышно, как ветер завывает в пустых рамах окон.

— Дальше я не поеду, — сказал водитель, не оборачиваясь. — Приказ: доставить вас до окраины, а дальше вы сами. Я буду ждать здесь до утра. Если не вернётесь — вернусь за вами с подкреплением.

— Спасибо, сержант, — коротко ответил Громов и вылез из машины.

Инна вышла следом. Она стояла рядом с ним, оглядывая руины, и на её лице не было страха — только холодная, напряжённая сосредоточенность.

— Здесь никого нет, — сказала она, и в её голосе прозвучала нотка неуверенности. — Совсем никого.

— Здесь никогда никого не было, — ответил Громов, шагая вперёд по разбитой дороге. — По крайней мере, после того, как Ярцев сжёг эту деревню.

Он прошёл мимо первого сгоревшего дома, затем второго и остановился там, где когда-то стояла церковь. От неё остался только остов — каменные стены, обвалившийся купол и пустой алтарь, в котором ветер гулял свободно, как в склепе. Рядом, за покосившимся забором, темнело старое кладбище. Кресты стояли неровно, некоторые упали, заросли бурьяном, и в скупом свете луны их тени казались изломанными пальцами, тянущимися к небу.

Инна подошла к нему и остановилась рядом. Она смотрела на кладбище, затем перевела взгляд на церковь.

— Здесь что-то не так, — тихо произнесла она, и в голосе её зазвучала та самая интонация, которую Громов слышал у людей, соприкоснувшихся с Жнецом. — Воздух... он другой. Как будто он тяжелее, чем должен быть. Как будто он дышит.

Громов не ответил. Он смотрел на кладбище, вспоминая тот день в сорок четвёртом, когда он стоял здесь же, смотрел, как цинковый гроб с братьями Чугуновыми опускают в карстовую воронку. Тогда он думал, что навсегда похоронил эту тайну. Но теперь она возвращалась — не в виде бумажных отчётов, а в виде холода, который просачивался сквозь подошвы сапог и поднимался вверх, к самому сердцу.

— Воронка должна быть за церковью, — сказал он, поворачиваясь и направляясь в обход руин. — За мной.

Он шёл быстро, пробиваясь через кустарник и битый кирпич. Инна следовала за ним, не отставая. Через несколько минут они вышли на поляну, где земля резко обрывалась вниз, образуя округлую, глубокую яму, края которой были укреплены бетонными кольцами. Над ямой, наполовину засыпанный землёй и мусором, лежал тяжёлый металлический люк.

— Это оно, — сказал Громов, останавливаясь у края. — Здесь Ярцев спрятал останки Петра и Михаила. И здесь, по словам Кротова, должен начаться Второй круг.

Он наклонился, чтобы поднять люк, но вдруг замер. Ветер стих, и в наступившей тишине откуда-то из глубины воронки донёсся звук — низкий, вибрирующий, похожий на далёкое пение. Он шёл из-под земли, и в нём не было ни слов, ни мелодии — только ритм, древний и терпеливый, как само время.

Инна тоже слышала его. Она подошла ближе к краю и заглянула в темноту, и в её глазах, на мгновение, мелькнуло отражение того самого золотого света, который она видела в своих снах.

Они оторвались от воронки, когда звук из-под земли стих так же внезапно, как и начался. Громов выпрямился и огляделся. Ветер снова задул, неся запах сырой золы и прелой листвы. Инна стояла рядом, всё ещё глядя в чёрный провал, но Громов мягко коснулся её плеча.

— Идём. Колодец в центре. Ярцев упоминал его в записях.

Они пошли по единственной уцелевшей улице, лавируя между обгорелыми остовами изб. Вскоре впереди показался колодец. Он не был похож на обычный деревенский сруб — это была глубокая каменная чаша, сложенная из тёсанных плит, покрытых мхом и копотью. На каждой плите, грубо выбитые, виднелись руны — не славянские и не германские, а те самые, которые Громов помнил по алтарю. Они опоясывали колодец сплошной лентой, словно намертво припаянной к камню.

Инна подошла ближе и провела пальцем по одной из линий. Камень был холодным, почти ледяным, хотя ноябрьский воздух не дотягивал до заморозков.

— Они не просто выбиты, — тихо сказала она. — Они... врезаны. Как будто их выжи- гали.

Из-за руин, пошатываясь, вышел человек. Сгорбленный старик в златанном полушубке, с клюкой, на которую он опирался обеими руками. Его лицо было изрезано морщинами, как старая кора, а маленькие, слезящиеся глаза смотрели на них с подозрением.

— Кто такие? — хрипло спросил он. — Зачем пришли? В Глухую уже давно никто не ходит.

Громов сделал шаг вперёд.

— Мы из органов, дед. Проверяем старые дела. Ты местный?

— Местный, — буркнул старик, не сводя с них глаз. — Пантелей меня зовут. Я тут сторожем при кладбище. Присматриваю, чтобы никто не тревожил покойников.

Он подошёл ближе к колодцу, остановился и долго смотрел на руны. Потом перекрестился мелко, по-старообрядчески, и понизил голос до шёпота, который почти тонул в завываниях ветра.

— Не надо бы вам сюда, — сказал он, глядя в пустоту. — Земля здесь беспокойная. По ночам, когда луна закрывается облаками, я слышу, как она стонет. Из-под земли, из-под тех плит. Словно кто-то там, внизу, ворочается и не может проснуться.

— Ярцев здесь что-то делал, — ровно сказал Громов. — Я знаю.

Пантелей вздрогнул при упоминании этой фамилии.

— Ярцев... — прошептал он, и в голосе его зазвучал тот самый дрожащий страх, который бывает у людей, видевших то, чего не должно быть. — Он приезжал сюда несколько раз. С солдатами, с грузовиками. И они не просто привозили тела. Они выкапывали их. Из старых могил, из-под церковного фундамента. Я думал, они ищут золото или старые иконы. Но он говорил своим людям: «Не мертвецов ищите. Ищите то, что в них было. То, что осталось после того, как они ушли».

Старик перекрестился ещё раз, и его пальцы, узловатые, как корни, коснулись груди, где под воротником полушубка висела тонкая кожаная тесёмка.

Громов заметил это движение. Он шагнул ближе и, не спрашивая разрешения, осторожно оттянул воротник. На шее Пантелея висела самодельная ладанка — небольшой кожаный мешочек, затянутый шнурком. На коже, процарапанные ножом, виднелись те же три изогнутые линии, расходящиеся от круга, с точками.

У Громова перехватило дыхание. Он резко отпустил ладанку и отступил на шаг. Точно такой же мешочек он видел три дня назад — в электричке, когда они возвращались из Ленинграда. Тогда, в тамбуре, он мельком заметил его на шее человека, который следил за ними. А через час того человека нашли мёртвым в туалете, с перерезанным горлом и той же ладанкой, сорванной и зажатой в кулаке.

— Откуда у тебя это? — спросил Громов, и голос его стал жёстче.

Пантелей испуганно отшатнулся, прикрывая ладанку ладонью.

— Мне дали, — забормотал он. — Давно, ещё при Ярцеве. Сказали: носи, не снимай. Защитит от того, что в земле.

— Кто дал? — наседал Громов.

— Не знаю, — прошептал старик, и в его глазах мелькнул настоящий ужас. — Офицер один. Молодой, с белыми глазами. Сказал, что это от «древнего глаза». Чтобы не видели, когда он смотрит.

Громов переглянулся с Инной. В её взгляде читалось то же, что и в его: они вступили не просто в зону старых экспериментов. Они попали в сеть, которая была раскинута задолго до них — и теперь эта сеть начала стягиваться.

— Дед, — сказал Громов, стараясь говорить спокойно, — ты нам нужен. Расскажи всё, что знаешь про эти ладанки. И про то, что Ярцев выкапывал. А потом мы уйдём и больше не будем тебя тревожить.

Пантелей долго молчал, глядя на руны на колодце. Потом вздохнул, тяжело, как старый мех, и опустил на корточки, опираясь на клюку.

— Садись, — сказал он, — разговор долгий будет.

Громов и Инна сели на закопчённые брёвна рядом. Ветер затих, и в наступившей тишине из глубины колодца вновь донёсся тот же низкий, вибрирующий гул — пение, которое ждало своего слушателя.

В то же самое время, пока Громов и Инна сидели у колодца в Глухой, слушая шёпот старого Пантелея, в Москве, в подвальном архиве Лубянки, Владимир Тучков снова пробирался в запретную зону.

На этот раз он был не техником, а ночным уборщиком — в застиранном халате, с ведром и шваброй, которые он тащил за собой, чтобы не привлекать внимания. В кармане у него лежала отмычка, а в голове — точное расположение стеллажа, где хранилось дело, которое

он искал. Он выяснил это по старым описям, которые успел перефотографировать во время первого визита.

Подвальный этаж, где находился особый архив, был почти пуст. Только в дальнем углу тускло горела лампа, освещающая стол дежурного, который, судя по всему, задремал. Тучков двигался бесшумно, ступая по бетонному полу в мягких тряпичных тапках, и вскоре остановился перед нужным стеллажом.

Он перебрал несколько папок, пока не наткнулся на толстый, перетянутый бечёвкой конверт с надписью: «Монгольский артефакт. Экспедиция Полуянова. 1948». На конверте стоял гриф «Совершенно секретно» и красный штамп «Подлежит уничтожению».

Тучков сорвал бечёвку и открыл конверт. Внутри лежали две вещи: несколько чёрно-белых фотографий и тонкая сопроводительная записка на бланке Академии наук. Он разложил фотографии на ближайшем столе и зажёл карманный фонарик.

На первой фотографии была изображена небольшая золотая статуэтка — не больше ладони, как указано в описи. Она стояла на постаменте из тёмного камня, и при свете фонарика её поверхность отливала тусклым, но тёплым блеском. У статуэтки было три головы, соединённые в единую шею. Одна голова была человеческой — с гладким, безликим овалом вместо лица. Вторая — бычья, с тяжёлыми, загнутыми вперёд рогами. Третья — воронья, с острым клювом и внимательным, круглым глазом.

Тучков перевернул фотографию. На обороте, карандашом, была сделана приписка: «Три лика: человек — разум, бык — сила, ворон — смерть. Предположительно, олицетворение цикла жатвы. Возраст — не менее 5 тыс. лет».

Он взял вторую фотографию — крупный план основания статуэтки. Там, на золотой поверхности, были вырезаны те самые три изогнутые линии, расходящиеся от круга, с точками. Он узнал их сразу. Это был тот же символ, что и на ладанке Пантелея, и на листке, который дала ему Галина.

Он отложил фотографии и взял сопроводительную записку. Текст был машинописным, сухим, без подписи, но явно исходил от кого-то из руководства экспедиции. В записке говорилось:

«Согласно предварительным полевым исследованиям, данный предмет обладает аномальными свойствами. Зафиксировано излучение неизвестной природы в диапазоне инфракрасного спектра, сопровождающееся повышением температуры окружающей среды на 2–3 градуса Цельсия. При приближении к предмету у членов экспедиции наблюдались немотивированные вспышки агрессии, конфликты и, в ряде случаев, временные провалы памяти. Рекомендуется: 1) изолировать предмет от контактов с людьми; 2) провести исследование в специализированной лаборатории; 3) в случае подтверждения опасных свойств — уничтожить предмет путём переплавки или захоронения в герметичном контейнере».

Внизу, от руки, кто-то дописал: «Уничтожению не подлежит. Передано на хранение до особого распоряжения. Подпись — Полуянов».

Тучков медленно сложил записку и фотографии обратно в конверт, затем засунул его под халат. Он знал, что Полуянов не уничтожил артефакт — он спрятал его. Где-то, возможно, в том самом личном сейфе, к которому у него не было доступа. Но теперь у него была хотя бы фотография и описание.

Он уже собирался уходить, когда заметил на дне конверта ещё одну бумагу — маленький, сложенный вчетверо листок. Он развернул его. Там, тем же нервным почерком Полуянова, было написано:

«Если вы читаете это — значит, я уже мёртв. Или близок к тому. Три лика не должны встретиться с чёрным алтарём. Золото будит быка. Чёрный камень будит ворона. Если они соприкоснутся — жатва станет необратимой. Уничтожьте золото до того, как оно увидит чёрный свет».

Тучков перечитал записку дважды. Золото — это идол. Чёрный камень — это алтарь Ярцева. Если они встретятся, если кто-то соединит их в одном ритуале, жатва станет необратимой. Полуянов знал об этом. И он оставил предупреждение тому, кто сможет его прочесть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.